



ВИКТОРИЯ ЛЕБЕДЕВА

КАК
ОН
БУДЕТ
ЕСТЬ
ЧЕРЕШНЮ?



Ковчег (ИД Городец)

Виктория Лебедева

Как он будет есть черешню?

ИД «Городец»

2020

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Лебедева В. Ю.

Как он будет есть черешню? / В. Ю. Лебедева — ИД «Городец»,
2020 — (Ковчег (ИД Городец))

ISBN 978-5-907085-90-9

Что чувствуют родители, когда их детям грозит суд? Что чувствуют дети, когда родители уходят? Почему вдруг возникает ненависть между любящими сестрами и сколько лет требуется для примирения? И самый важный вопрос – возможно ли простому человеку прожить вне политики и госструктуры и сохранить внутреннюю свободу? Обязательно ли для этого менять страну? На эти и другие вопросы автор пытается ответить хотя бы себе в повести «Как он будет есть черешню?» и романе «Без труб и барабанов».

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907085-90-9

© Лебедева В. Ю., 2020
© ИД «Городец», 2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Как он будет есть черешню? | 6 |
| Глава 1 | 8 |
| Глава 2 | 11 |
| Глава 3 | 13 |
| Глава 4 | 18 |
| Глава 5 | 21 |
| Глава 6 | 25 |
| Глава 7 | 27 |
| Глава 8 | 31 |
| Глава 9 | 35 |
| Глава 10 | 38 |
| Без труб и барабанов | 43 |
| Часть 1. Немного мела и чернил | 43 |
| 1 | 44 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 53 |

Виктория Лебедева
Как он будет есть черешню?
(сборник)

© В. Лебедева, 2020

© ИД «Городец», 2020

© А. Геласимова, оформление, 2020

* * *

Как он будет есть черешню? (повесть)

Я наткнулась на этот пост утром, собираясь перейти от омлета к кофе.

Виртуальная подруга из Новосибирска писала под заголовком «Всем-всем-всем! Новый вариант телефонной разводки!!!»

Ей позвонили в половине третьего ночи и строгим официальным голосом проинформировали, что ее несовершеннолетний сын задержан по статье 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических веществ, и сейчас находится в районном отделении полиции. А у нее и правда несовершеннолетний сын, ему пятнадцать, и в эту ночь его не было дома, потому что вечером он поехал к деду отвозить лекарство и остался ночевать там.

Она поэтому даже имя не спросила сначала, эта моя виртуальная знакомая, а сразу и безоговорочно поверила голосу в телефоне – не потому, что не доверяла собственному ребенку (хотя и это, наверное, тоже), а просто решила, что вдруг это какое-то недоразумение, из-за лекарства, у деда ведь рак, и мальчик вез две упаковки «Трамадола», – она поверила и стала оправдываться, лепетала что-то, с перепугу назвала имя сына, – и только тогда заподозрила неладное, когда строгий голос, после паузы, вкрадчиво назвал ей сумму, которая избавит мальчика от уголовного дела.

Просили сто пятьдесят – и для той знакомой деньги были неподъемные (хотя для многих они, наверное, тьфу). Тогда, просто от страха – за ребенка, за себя, за все вот это, – и потому, что у нее столько нету и никогда, пожалуй, не будет, у новосибирской подруги заработала логика. Она спросила номер отделения, где находится мальчик. Ей сказали вместо ответа: если готовы платить, мы сейчас сами подъедем, вас не должны там видеть; хотите замять, говорите адрес... Тут она еще сильнее насторожилась – если Сережка с ними, что же он, адреса не назвал? Или он нарочно не говорит, от страха? Тоже бред, он же с паспортом, там написано все – фамилия, регистрация... Это все она очень быстро подумала, «за секунду в голове пронеслось», по ее словам. И тогда она сказала, что ей нужно время все осмыслить и посчитать деньги, и попросила перезвонить через полчаса. А сама, конечно, стала дозваниваться своему отцу (деду мальчика то есть).

Они не сразу взяли трубку на том конце провода, папа и сын, и у нее чуть сердце не остановилось. Она так и писала в своем посте: «У меня чуть сердце не остановилось, верите?!» А когда все-таки взяли, выяснилось, что Сережка спокойно спал в квартире у деда – на диване в большой комнате. Да так крепко, что даже телефона не услышал, – это уж дед до него докричался, чтобы он в коридор вышел и трубку наконец поднял, а то у деда ноги едва ходят.

«Ты что, мам, какие наркотики? – говорил ей сын медленным со сна голосом. – Что я, лох?» Он говорил, а она плакала. Опустилась прямо на пол, там, где стояла, и рыдала. И не могла остановиться. Она так и писала, эта моя знакомая, про лоха, про «рыдала, не могла остановиться», только без запятых и с опечатками, от волнения, наверное... Она писала, и поскольку другой часовой пояс и новосибирский пост уже несколько часов провисел в фейсбуке, то под ним собралось изрядно комментариев и они все прибывали.

«А что, сыну на мобильный позвонить было нельзя?» – интересовались те, кто привык мыслить здраво в любых обстоятельствах.

«Так не брал!!!» – восклицала моя сетевая подруга. Ее мальчик и в самом деле был не лох – он на ночь звук вырубил, чтобы ему всякая ерунда на смартфон не падала из соцсетей. Чтобы спать не мешали. И дальше в обсуждении шла большая такая ветка комментариев на тему ночных оповещений на смартфоны и айфоны, не относящаяся к делу.

По воспитанию тоже потоптались от души: молодежь, мол, пошла – оторви и брось, и в кого они только, и мы-то в их возрасте, и далее везде. Нашли подходящий случай. Молодцы!

Еще было много всяких «О господи!» и «Какой ужас!». И разные другие примеры телефонного разводилова: кому-то звонили, будто их родственник человека сбил на машине и нужно срочно доставить такую-то сумму в такое-то место или на карту перевести, кому-то приходили эсэмэски «Мама, у меня проблемы, срочно кинь денег на телефон», у одного мужика в Подмосковье и вовсе угнали скутер от магазина, со всеми документами в ящике под сиденьем, а потом ему же названивали и предлагали вернуть за двадцатку. Там много чего было, тоже огромная ветка комментариев, и новые булькалы, булькалы, булькалы, поскольку очень актуальная тема, я понимаю, – я не стала это все читать.

Мой кофе остыл и подернулся радужной пленочкой, а я все перечитывала этот пост из Новосибирска, по кругу, и никак не могла остановиться – прямо заклинило.

«В этот день я едва не поседела!!!» – писала моя виртуальная подруга. «БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!!!» – писала она. Капслоком, потому что это правда важно для нее было после пережитого стресса... То есть это всегда важно, но в такие дни – важно ИМЕННО КАПСЛОКОМ.

Муж заглянул на кухню, поинтересовался, что это я залипла, когда у него рубашка не глажена, и я услышала лишь с третьего раза, но объяснять не стала: не надо ему этого, у него сегодня и так день тяжелый... Он только плечами пожал и ушел собираться на работу, из комнаты через некоторое время донеслось шипение утюга, а я все сидела, глядя в экранчик смартфона. Мне тоже хотелось оставить комментарий, очень. Но какой?

В горле застрял нервный смешок да так и стоял там, не давая нормально дышать, а за грудиной ощущалась тяжесть и холод... не как тогда, конечно, но все равно. Может быть, написать так: «Звонок – это еще что! Вот представьте, если бы вам в дверь правда позвонили полицейские. Вы бы им открыли, а с ними правда ваш мальчик, который попался на наркотиках». Бред. Не поймут. К тому же это слишком длинно для коммента. И как-то даже отдает провокацией, как будто я издеваюсь. Но я не издеваюсь.

Написать: «Бывает и похуже, молодые дураки часто вляпываются бог знает куда из самых добрых намерений»?.. Тоже неоптимистично как-то, и не все молодые – дураки, у этой подруги, судя по всему, мальчик – приятное исключение...

Так я промучилась еще минут пятнадцать, машинально прокручивая ленту вверх-вниз, со всеми этими котиками, выборами, самопрезентацией, селфи на фоне достопримечательностей, анонсами и войной, но все равно возвращалась к тому посту, ничего не могла с собой поделать... возвращалась и в итоге написала единственное, что наконец-то сочла уместным: «Хорошо, что все обошлось».

И почти мгновенно мне прилетел благодарный лайк из Новосибирска.

Глава 1

Приговор объявлен.

Мы недружно поднимаемся с мест, судья схлопывает свою папку, я тоже встаю, пытаюсь разогнуться... потом пробел, монтажная склейка, перед глазами белый потолок.

Стык между белым потолком и желтой стеной тянется наискосок, поперек кадра. Если поднять взгляд выше, можно увидеть помаргивающие лампы дневного света в квадрате люстры. Белый потолок расчерчен на квадраты. А с этими лампами что-то не так. Мечется лихорадочная мысль: что? что?! Лампы моргают, моргают, моргают... звук! Ну конечно! Лампы моргают, но не жужжат, я существую в полной тишине, она воспринимается как мягкая обволакивающая субстанция, лампы моргают, моргают, и тут надо мной всплывает перевернутое лицо мужа. Он открывает рот и что-то говорит, он напуган, я ничего не слышу, лампы моргают, интересно, зачем днем лампы? В зале и так достаточно светло, утро, солнце из окна бьет прямо в глаза, я жмурюсь и отворачиваюсь – почему-то очень медленно, – и вижу перед собой ноги в черных эластичных колготках. Ноги начинаются из черных кожаных туфель на аккуратном ортопедическом каблучке, тянутся вверх и скрываются под подолом строгой черной же юбки. Ноги стоят на линолеуме. Он желтый, но не такой, как стены, а гораздо темнее, он исчерчен множеством подошв, на нем темные полосы, рытвины какие-то, пыль... Солнце падает так, что ее очень хорошо видно: пылью подернута вся поверхность пола, насколько хватает взгляда. Я смаргиваю – и только тогда начинается звук.

– ...же вы, мамочка, все уже кончилось! – говорит строгий голос где-то высоко-высоко надо головой, там, где лампы не жужжат, вернее, нет, неправильно, они уже; этот голос и эти ноги – они определенно связаны между собой.

– Лена, что?! – Муж перекрикивает все остальные вернувшиеся ко мне звуки.

Стремительная внешняя сила подхватывает меня под мышки, и мир совершает обратный переворот, становясь на место, резкая боль бьет в поясницу, и я повисаю на руках у мужа, упираюсь ухом ему в грудь. У него за грудиной гулко бухает с бешеной скоростью – он очень напуган, но все равно удерживает меня в вертикальном положении.

– Что же вы, мамочка, – повторяет женский голос у меня за спиной. – Ну нельзя же так! Всё позади!

Я медленно, стараясь обмануть боль, оборачиваюсь и вижу Ваньку.

Он стоит где стоял, с глупым лицом – растерянным и виноватым, и трет переносицу указательным пальцем. Очки от этого, разумеется, набок. Ну и вид у него сейчас! Ванька всегда так делает, если растерялся или задумался, – трет переносицу. Когда он снимает очки, взгляд у него потерянный – как, наверное, у всех очень близоруких людей... он сейчас не смотрит на меня, старается не смотреть, он смотрит в пол, трет переносицу, и щеки у него горят. Какой же он еще маленький, проносится мысль. Маленький и глупый. Ванька. Иванушка-дурачок. Глупый. Глупый и добрый...

Голова потихоньку приходит в порядок, и я уже относительно нормально стою сама, хотя на копчик как будто кирпич привесили.

– Андрей, все хорошо. Я в порядке! – это мужу, на нем лица нет.

Перевожу глаза на судью.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что ей всего-то лет тридцать, ну тридцать пять максимум, а за своим столом, вся в черном и строгом, с моего свидетельского места на другом конце зала она выглядела ухоженной сорокапятилетней. У судьи озадаченный и немного сонный взгляд. Ресницы обозначены тушью так густо и загибаются на кончиках так лихо, что я невольно думаю: а детей-то у нее, пожалуй, нет.

Судья спрашивает – дежурно и участливо:

– Вы в порядке?

Я киваю.

Я ей благодарна, очень-очень.

У меня «выпадает» позвонок. Это еще с юности, после травмы на тренировке по лыжам. Вроде он ничего-ничего, но никогда не знаешь, в какой момент его переклинит, – и это проблема. А если понервничать хорошенько, то сам бог велел, чтобы переклинило. Так что я с самого начала этой истории почти не человек. Уже три курса лекарств проколола за два месяца, но без толку. Только станет чуть-чуть полегче – и всё обратно. На объявлении приговора я поэтому сидела не шевелясь, с прямой спиной, как балерина какая-нибудь. Муж говорит, когда меня так переклинивает, то у меня сразу становится жутко независимый и надменный вид – и сегодня это было некстати, но что ж поделаешь, не прийти я не могла.

Мы выехали из дому чуть не за три часа, Андрей и Ванька вели меня под руки по шажочку – сперва до автобуса, потом от. Вертушки на входе в общественный транспорт придумал какой-то враг всего живого – вот о чем думала я, пока ехала в автобусе в суд, просто чтобы не думать о том, что с нами будет. Позже. Через три часа. Ванька пытался шутить, но у него не получалось: все, что бы он ни сказал, звучало зловеще, даже самая безобидная ерунда, в каждом слове мерещился какой-нибудь недобрый знак.

Судья небось подумала, что это у меня обморок от нервов. Нет. Хотя пусть думает. Так даже лучше, наверное. Судьям, когда они судят, неплохо бы помнить, что перед ними люди... хотя зря я, нам попалась хорошая, повезло. А это никакой был не обморок от нервов, а просто болевой шок. Утром Андрей обколол меня обезболивающими, и я как-то держалась, а потом их действие кончилось – вот и грохнулась. Не первый раз, бывает.

– Прости, мам... – Ванька наконец подходит ко мне, но обнять боится. Щеки у него такие красные, что, кажется, я чувствую идущую от них волну жара.

Мы трое стоим, загородив проход, и все вежливо ждут, пока мы сдвинемся, но, поскольку я уже на ногах и проявляю признаки осмысленности и способности к перемещению в пространстве, люди вокруг начинают нетерпеливо переминаясь. Особенно наш прокурор. Махонький такой пацанчик – Ваньке, может, по плечо, смешной до ужаса. У него круглые гладкие щечки, ярко-синий костюмчик, по нынешней моде брючки узкие – туго обтягивают великоватую попу, наетую в фастфудах, а рубашка сиреневая (не сказать розовая), и под лацканы спускается тонкий яркий галстук. Мальчик-прокурор острижен коротко-коротко, и под жидкими белесыми волосами проступает нежная розовая кожа. Еще десять минут назад он не казался мне смешным, этот мальчик. Он чеканил слова и просил для Ваньки шесть лет лишения свободы. Я последний раз мельком смотрю на смешного мальчика и отвожу глаза, чтобы ненароком не пожелать ему в сердцах чего-нибудь плохого, за что потом мне будет стыдно.

– Андрей, пойдёмте, мы тут всем мешаем, – тихо прошу я мужа, и он наконец-то снимается с паузы. Делает несколько ненужных суетливых движений. Бормочет «конечно-конечно».

Наконец муж и Ванька, приноровившись, подхватывают меня под руки, и мы медленно выползаем из зала суда в сумрачный прохладный коридор, и только тут, когда никто чужой больше на меня не смотрит, по щекам начинают течь слезы.

Прежде чем выйти на улицу – туда, где яркое солнце и звенящая ясность в воздухе, – нужно подрисовать лицо. Меня целую вечность ведут в дальний закуток коридора и ставят перед дверью женского туалета. Дальше придется самой. Я вползаю по стеночке, хватаюсь сначала за сушилку (она немедленно начинает выть), потом за раковину, повисаю на обеих руках. Голова до сих пор немного кружится, а руки ватные.

Из зеркала на меня смотрит перепуганная тетка с лицом цвета бледной поганки – или это так отсвечивает? Кафель тут новенький, ладно пригнанный – и как раз зеленый. Беленькие

раковины, сенсорные краны, жидкое мыло в хромированных колбах на стене – как где-нибудь в Европе. Европа на ближайшие пять лет Ваньке заказана. Да и не-Европа тоже.

Я думаю об этом равнодушно, не испытываю даже малюсенькой досады. Главное – *не закрыли*. Илья Валерьевич говорил – для этого нужно чудо. Вот, у нас сегодня чудо.

Там, в зеркале, бледная тетка опять начинает плакать, я подставляю ладонь под сенсорный кран, ловлю в пригоршню воду и брызгаю тетке в лицо. Вода ледяная, у нее хлорный химический запах. Она течет по бровям, по подбородку, затекает за ворот платья... Я сегодня надела свое самое новое платье, которое в начале лета покупала специально, чтобы идти к Ваньке на выпускной, – такое ощущение, что это было сто лет назад. Или даже двести. Холодная вода окончательно приводит меня в чувство, да и спину, кажется, отпускает постепенно.

Хватит прохлаждаться. Надо найти Илью Валерьевича, если он еще не убежал, и спросить, что нам теперь делать. Что вообще значит эта наша условная судимость и чем грозит. Два месяца я не думала о будущем – просто не могла. А теперь – чудо. Теперь – можно.

Вытираю лицо, припудриваю зеленые щеки, подвожу глаза, обратным порядком возвращаюсь в коридор. Раковина, сушилка (сушилка воеет), стена, дверь. Внимание, я выхожу!

И под дверь застаю мирную картину. Муж и Ванька возятся посреди коридора и смеются. Андрей обхватил Ваньку за шею, притянул к себе и не отпускает, а Ванька смешно переступает худыми ногами, танцуя вокруг отца, бессильный ослабить хватку.

– Ну па-ап! – хрипит Ванька у Андрея из-под мышки. – Ну так нечестно!

Вместо ответа Андрей щелкает сына по лбу – раз, другой, третий.

– Ну па-ап!!!

Интересно, а в университет можно с условной уголовной судимостью?

То есть в этом году точно пролетели уже, сентябрь на дворе, но вот на следующий? Надо бы спросить у Ильи Валерьевича.

Тот, легок на помине, сидит метрах в пяти дальше по коридору и сосредоточенно перебирает какие-то свои бумажки. Повезло нам с адвокатом, хоть мы его специально не искали. Он, кстати, еще эту защищал... одну писательницу известную, поэтессу точнее, тоже по наркотикам... фамилию забыла. Вот, теперь можно хвастать, что у нас адвокат как у... да что ж с памятью такое?! Только утром фамилию помнила, а сейчас из головы вон.

Илья Валерьевич перебирает документы, а мои мальчики возятся как ни в чем не бывало, меня не замечают. Я наблюдаю за ними, и мне тоже становится весело.

«Что было, то было. Бог с ним», – так я думаю. Потом думаю, как в книжке, что «подумаю об этом завтра».

Тут Андрей и Ванька одновременно поворачиваются в мою сторону, расцепляются и подсакивают – запыхавшиеся и абсолютно счастливые. Обнимают с двух сторон и осторожно ведут по коридору в сторону Ильи Валерьевича, который тоже замечает нас и поднимается с места.

– Ну что, орел? – спрашивает он Ваньку и, не дождавшись ответа, говорит уже нам: – Поздравляю. Это победа. И даже не представляете какая! На моей памяти по такой статье да с такими обстоятельствами ни один условным сроком не отделался...

Дальше он опять объясняет про чудо, говорит, что мы с Андреем огромные молодцы, потому что в таких делах поведение родителей – это пятьдесят процентов успеха, он говорит, говорит очень обстоятельно и убедительно, как и положено человеку его профессии, и до меня медленно начинает доходить, чем все это могло закончиться сегодня для нас, для Ваньки...

И тут, понятное дело, я опять начинаю рыдать как дура – просто от облегчения.

Глава 2

Утренний пост в фейсбуке запустил воспоминания, и они теперь крутятся в голове, не отключаются – всё, что стараюсь забыть последние несколько лет.

Что я делала в тот вечер? Я не помню. Совсем. Кажется, работала. Редактировала что-то. Перевод? Да, наверное, перевод. Но какой? Ту биографию знаменитого физика, где переводчица на пространстве тридцати авторских листов свалила в одну кучу лампы накаливания и лампы дневного света, и пришлось все это сверять вручную по оригиналу? Или забавный мануал «Как пить и не выглядеть идиотом», очень срочный? А впрочем, какая теперь разница – пытаюсь вспомнить тот текст, я все равно не забуду того, о чем мне напомнили утром, и тогда к чему эти отсрочки; может быть, если прокрутить все заново, от начала и до конца, меня отпустит?

А Ванька... не то чтобы мы не доверяли Ваньке, мы всегда твердили ему: «Ты уже взрослый», и мы его не «пасли»: не звонили каждые полчаса, пытаюсь узнать, где он и с кем, не лезли в ящики его стола во время уборки или в компьютер, не френдили его в соцсетях, чтобы вычислить круг общения, – ничего такого, но вечерами, если он задерживался, все равно не ложились, а досиживали до того момента, пока в дверях не начинал возиться ключ, а чтобы время не тянулось слишком медленно, работали – что еще делать по вечерам, так-то разобраться?

Звонок прозвенел сначала коротко и робко, и я, наверное, подумала, что Ваньке опять лень искать ключи по своим многочисленным карманам... то есть я не помню, конечно, о чем подумала конкретно, помню только, что открывать сразу не пошла, а поднялась с места лишь тогда, когда звук повторился – настойчивый и протяжный, а потом еще и еще раз. А что делал Андрей? Почему он-то не открыл? Я и этого не помню. Может быть, тоже работал – писал что-нибудь или читал. Или курил на балконе. Наверное, я тогда разозлилась на этот звук: свекровь уже уснула, весь день ее мучило давление, раскалывалась голова, и вот теперь, когда она с таким трудом отключилась, напившись таблеток, этот поросенок трезвонил в дверь, потому что ему лень... Наверное, пока я шла, я думала: «Ну ты у меня получишь!» – или что-то подобное, дело было к двенадцати ночи, и, понятно, кроме Ваньки звонить в дверь было некому, но я зачем-то все равно посмотрела в глазок...

На лестничной площадке, тускло и холодно освещенной (лампами дневного света, а не лампами накаливания, возможно, отметила я про себя, если редактировала тогда книгу про физика), стояли какие-то люди. Их черные силуэты, подсвеченные в спину, а потому безликие, производили нетерпеливое шевеление. К звонку потянулась рука, мужская, на мгновение сделавшись огромной и перекрыв обзор, и в коридоре опять раздался резкий звук.

– Кто там? – спросила я (или не спросила, не успела).

А с той стороны сказали громко и четко:

– Откройте, полиция!

Возможно, тут тоже был какой-нибудь диалог между нами, потому что, если рассуждать логически, ну кто поверит, что в двенадцать ночи черные силуэты за твоей входной дверью действительно полиция, а не бандиты какие-нибудь... кто поверит, если он нормальный, в смысле если он сам не бандит и вроде нас с Андреем даже дорогу всегда старается переходить по зебре? Возможно, мы некоторое время препирались с теми, кто в тот вечер стоял за дверью, и Андрей (а в какой-то момент, которого я тоже не помню, около меня в прихожей оказался Андрей) сам грозил пришельцам полицией и не торопился открывать. Собственно, я ничего не помню, в смысле никаких подробностей, кроме одной: как я опять смотрю в глазок, а там черные силуэты расступаются и за их спинами я вижу – чувствую, узнаю – Ваньку.

Ванька стоит, опустив голову, челка падает на глаза, и тот, кто держит его за руку повыше локтя, кажется мне огромным, а Ванька, наоборот, крошечным. И тогда мы наконец открываем.

Толпа за дверью мне только померещилась. Их всего трое, и Ванька с ними. Тот, кто стоит ближе к дверям, представляется и протягивает открытое удостоверение. Говорит положенные в подобном случае слова (которых я тоже, понятное дело, сейчас не помню, а тогда хоть и слышала, но смысла их сразу не поняла). Говорит: «Служба наркоконтроля», или «Отдел по борьбе с наркотиками», или что-то другое в этом духе – и прячет корочку в нагрудный карман. А тот, огромный, который держит Ваньку повыше локтя, спрашивает, знаком ли нам гражданин Григорьев Иван Андреевич.

– Да, это наш сын, – отвечает Андрей.

Гражданин Иван Андреевич Григорьев поднимает растерянное лицо и смотрит на отца – скорее недоуменно, чем испуганно. В очках отражается луч от лампы над лифтом. Полоснул и погас.

Нам называют статью, по которой гражданина Ивана Андреевича Григорьева задержали. Я тоже не чувствую испуга, а только холод – грудная клетка парализована холодом от солнечного сплетения и до шеи, и руки поэтому не шевелятся.

– Это ваше? – Огромный делает шаг в сторону, увлекая за собой Ваньку, и за его спиной оказывается велосипед. Он прислонен к стене и упирается задним колесом в дерматиновую дверь соседей напротив; на руле болтается Ванькина кепка.

Самое страшное во всей этой сцене то, что никакая она не зловещая, а совершенно обыкновенная. Мужчины за дверью ведут себя спокойно и уверенно: не угрожают, не делают резких движений, не повышают голоса, это просто люди на работе, при исполнении, и работа у них вот такая.

Нам сообщают, что Григорьев Иван Андреевич задержан по статье двести двадцать восьмой, часть первая, пункт второй, в ответ на наше невнятное растерянное бормотание, суть которого «не может быть» и «тут какая-то ошибка», вежливо, но бегло объясняют, куда сейчас везут Ваньку и во сколько туда подойти утром для выяснения всех обстоятельств (советуют даже, какие принести вещи для него); Ванька стоит, хлопает близорукими глазами из-под очков; он не пытается возражать и не вырывается, ничего такого, хотя и виноватым тоже не выглядит, а потом его уводят вниз по лестнице, звук шагов гулко разносится по подъезду и затихает. Хлопает железная дверь.

А мы стоим в коридоре и молчим.

Первым немного приходит в себя Андрей. Он берет велосипед за руль и ведет его в квартиру, словно покорного ишачка, вкатывает на привычное место. На руле раскачивается Ванькина кепка. Я начинаю дрожать. То есть «дрожать» – это не совсем правильное слово. Меня просто колотит, зуб не попадает на зуб. Запоздало бросаюсь на балкон и выглядываю во двор, но там уже никого нет, пусто. Стоянка спит, фонари желто светят, кто-то шарахается в кустах у подъезда – коты, наверное. Лето, ночь. Жарко. Меня еще сильнее колотит.

На прошлой неделе в школе был выпускной. А ровно три дня назад нашему Ваньке исполнилось восемнадцать.

Глава 3

Ночи с июня на июль самые короткие в году, но та наша ночь тянулась, и тянулась, и тянулась, как будто она вечная. И по-настоящему хорошо я помню не события, а ощущение – когда целую вечность терпишь как бешеный, лишь бы не смотреть на часы, но не выдержи-ваешь, смотришь, а там прошло две-три минуты. Так что «время остановилось» – никакая не фигура речи, я это точно знаю.

Я смотрю на часы, Андрей гуглит. Механически листает юр-сайты и Уголовный кодекс, дрожащим шепотом зачитывает вслух какие-то выкладки, и снова, и снова, и очевидно, что прочитанных слов он сейчас не понимает... и я их не понимаю, ни одного, а только слежу за временем, сколько еще осталось до утра, нам было велено прийти к десяти часам, часы подло отсчитывают по две-три минуты и один раз семь минут, когда я иду варить кофе. Андрей выходит на балкон и там стоит, ежась и пуская белый дым за бортик, и дым плывет в стоячем сомкнувшемся воздухе, меняя очертания.

У кофе нет вкуса. Свекровь храпит в своей комнате так сильно, что, кажется, на кухне подпрыгивает посуда; мы пьем кофе, Андрей курит, гуглит, курит, гуглит, курит, время тянется, за окном не становится светлее, и я все думаю: как же так, ведь лето, летом светает рано; это очень странная, очень медленная и очень холодная ночь.

Еще я помню, как осторожно уговариваю мужа пойти и лечь, произношу слова, верные и логичные, про то, что мы завтра должны быть вменяемые и со свежими силами, иначе ничем не сможем помочь Ваньке, и вроде бы Андрей соглашается, кивает, но не выпускает из рук компьютерную мышь. Мы так и ложимся с ноутбуком, и он стоит между нами, с этой своей зловещей подсветкой, а мы лежим на спине и держимся за руки, развернув перед собой какой-то форум, и там, на форуме, тонны сообщений о том, кого и как взяли, я не могу это читать, мне страшно: эти истории, они плохо заканчиваются, все как одна.

За окном стоит и не уходит чернота, будто она тут насовсем, рука у Андрея холодная и твердая, как из воска, я пожимаю ее, но он едва отвечает на пожатие, а только крутит беспроводной мышью шарик, водит стрелкой по экрану, клик-клик, клик-клик, и по экрану плывут вопросы, все эти «что мне светит?» и «нужен ли адвокат?», и кто-то пишет – мол, ерунда, оштрафуют по первому разу и отпустят (и тогда мы с Андреем оба выдыхаем с облегчением), а кто-то сразу называет сроки – три, пять, шесть, двенадцать лет (и тогда мы жмемся друг к дружке – а что еще делать-то?), но собрать информацию, структурировать и уж тем более делать выводы не способны ни он, ни я.

Что дальше – не помню. Спали мы в итоге или нет? Не помню. Наверное, вырубались ненадолго урывками или, может, уснули на какое-то время уже под утро, в памяти по этой части полный провал, а следующее, что я помню отчетливо, – как мы с мужем сидим на трубе загородки напротив отделения полиции и напряженно смотрим на вход.

У входа ничего такого не происходит, только иногда вываливается на перекур дюжий дядька и тычет пальцами в плоский телефончик, который кажется в его лапах игрушечным. Это на крыльце. А есть еще парень в будке у ворот, дежурный. Он дремлет, уронив голову на руки. Андрей уже подходил к нему, чтобы уточнить, куда нам, и вообще, но ему объяснили: слишком рано, сидите и ждите. И мы сидим.

Начало восьмого.

У нас за спиной – жилой дом. То и дело хлопают металлические двери подъездов. Будни, и люди спешат на работу. Звуки за спиной состоят из цоканья каблучков и шарканья дворничьей метлы, заводятся чьи-то автомобили, лают собаки, которых ведут на прогулку, истошно орет маленькая девочка, не желающая идти в детский сад, – и вдруг резкий пронзительный крик за спиной: «Мам! Ма-ам!» Абсолютно точно Ванькин!

Подскакиваем, едва не навернувшись через трубу, лезем на газон, пролетаем несколько метров по направлению к дому. Андрей резко тормозит, и я налетаю ему на спину. Это не Ванька. Конечно нет. Пацан лет тринадцати кричит под окнами, и откуда-то сверху ему сбрасывают футбольный мяч... мяч бьется об асфальт и подлетает опять выше деревьев, пацан не успевает его поймать, сверху слышится растерянное и звонкое женское «О Господи!». Мяч летит по дуге и опускается куда-то в машины, ударяется о крышу и снова отлетает. Истошно орет сигнализация. Мальчик, примериваясь к траектории злополучного мяча, пятится и суется, кричит: «Ну ма! Ну ты совсем!» Наверное, ему что-то отвечают, но не слышно: сигнализация орет. Мальчик бежит. Он бежит, отступаясь, по газону в нашу сторону, с задранной головой, пытаюсь отследить мяч, сигнализация орет, смешная сценка, в другой раз мы бы с Андреем обязательно посмеялись. Обязательно. Задетая машина издает последний всхлип, закругляя фразу, и становится тихо. «Прости! – кричит женщина из окна. – Я не нарочно! Позвони!» – и дальше захлопывается рама, а мальчик и его мяч наконец-то воссоединяются и уходят за угол.

Я обнимаю Андрея, а он меня, и мы так стоим посреди газона в чужом дворе, между жилым домом и отделением полиции, стоим, кажется, целую вечность, но, наверное, если посмотреть на часы, там опять проходит две-три минуты.

А потом Андрей курит. Снова. Все то утро – в дыму. Дым, солнце и холодная твердая труба, на которой неудобно сидеть. По-хорошему, нам бы пойти домой и переждать там хотя бы до половины десятого, а потом вернуться, тут идти-то всего квартал, но мы не можем. Мне кажется, если мы отсюда уйдем, с Ванькой случится что-то плохое... то есть с ним и так плохое, оно уже случилось, но я уверена, что если двинусь с места, то все сделается еще хуже, и я не уйду. А что думает Андрей, я не знаю, не спрашиваю. Но и он сидит рядом на трубе как приклеенный.

Гадаю, за каким окном может быть сейчас Ванька. И за окном ли? Воображение услужливо рисует одиночную камеру из американского блокбастера, холодную и бесприютную. Следом приходят дежурные «мамские» мысли: «А он поспал? А он поел? Наверное, он там голодный!» И дальше начинается лихорадочная деятельность. Оставив Андрея курить на трубе, бегу в ближайший супермаркет – не иду, а именно бегу, хотя отчетливо понимаю, что торопиться мне некуда, а даже наоборот. С полдороги соображаю, что оставила сумку с деньгами и документами дома и сейчас бегу с пустыми руками, потому возвращаюсь, так же бегом, к мужу, беру у него деньги и несусь назад: сердце прыгает, дыхание прыгает, надо успеть... только бы успеть! О господи, куда?! Еще два часа! С хвостиком!

Остановиться, однако, невозможно. И назад я прихожу уже через пятнадцать минут. Я несу в большом белом пакете булочки, нарезку и коробку миндальных пирожных. И пакет молока. И минералку. И шоколадку с орехами. И черешни в пластиковом контейнере. Все как Ванька любит.

Андрей смотрит как-то странно.

– Что? Ну что?!

– Леночка... Как, по-твоему, он будет есть черешню? – спрашивает он вкрадчиво. – Где он ее помоеет, Леночка, он же... в мили... Он в полиции, – произносит последнее слово и отсекается.

Он в полиции. Да! Мой Ванька! В полиции!

Зло откручиваю пробку – потревоженная минералка бьет во все стороны, брызги летят на юбку, на туфли, ну и ладно! – я откручиваю пробку, срываю с черешневого контейнера полиэтилен и начинаю поливать ягоды минералкой, вода пенится, и шипит, и выливается сквозь дырочки в доньшке. Андрей поднимается с трубы, подходит и обнимает меня, крепко-крепко. Говорит в самое ухо, негромко, но очень твердо: «Все. Будет. Хорошо».

Я держу черешню на вытянутой руке, минералка капает из мокрой коробки...

Дальше опять провал в памяти, и я нахожу себя уже в отделении, на последнем этаже. Он второй или третий? Не помню, маленькое такое здание во дворах, за металлическим высоким забором, похожее на детский садик, куда Ваньку водили в детстве, но идти и выяснять про этажи теперь охоты нет. Глупо, наверное, но я который год стараюсь не ходить в тот квартал... Мы стоим на верхнем этаже, стены нежно-голубые и залиты светом, металлические перила, высокое окно... я смотрю через перила вниз и вижу: ведут Ваньку. Он шагает между двумя молоденькими... язык не поворачивается назвать их полицейскими, но да, между двумя полицейскими, голова опущена, на затылке топорщится светлый ежик. Сердце начинает колотиться как ненормальное, и кажется, что оно везде, руки не слушаются. Ванька поднимает голову и видит нас с Андреем на площадке, шурится, чтобы убедиться. Он без очков. Господи, почему он без очков? Куда их-то он дел? У него же минус восемь, без очков он чистый крот, удивительно, что идет и не спотыкается. Ванька узнает нас, виновато вжимает голову в плечи и отводит взгляд, подтягивает штаны. А они сползают; то-то он шагает как-то странно, а это просто у него забрали ремень (я откуда-то вспоминаю, что в полиции обязательно забирают ремень – зачем?!), а Ванька, он же худенький, худенький и длинный, отца на полголовы перерос, с него же все съезжает, все на нем висит мешком, а если в размер, то все тогда короткое – брючины, рукава... Его проводят мимо, он поддерживает штаны, а мы стоим с Андреем как примороженные, даже не здороваемся с сыном, идиоты, даже не делаем шага навстречу, просто стоим и смотрим, как наш Ванька, ведомый двумя маленькими полицейскими, уходит от нас по коридору и скрывается за дверь.

Потом я помню дверь. Дверь – и голоса за ней. Помню, как мне мерещится, будто Ванька рассказывает про себя всякие ужасы – что да, торгует, да, употребляет, – все это складывается в голове из смутного бубнения в приоткрытом кабинете; в коридоре полумрак, по стенам какие-то плакаты, доски какие-то и бумажки на досках, лампы по какой-то причине не горят, и толком ничего не видно, лишь резкую полоску солнечного света, которая выбивается из кабинета, где допрашивают Ваньку. Андрей берет меня за плечи, крепко сжимает, и я понимаю, что до этого меня трясло. Трясло, и вот теперь перестало.

Дальше мы у следователя. Опять голубые стены, стулья, стол, бумажки на столе. Следователь – женщина, нашего примерно возраста; воспоминание включается на фразе «...ну а что вы хотите, на той неделе учителя физики взяли с поличным, в...», и она называет школу, номер не помню, но точно не Ванькину. Я озираюсь. Ваньки в кабинете уже нет. (Увели?) Я сижу на краешке стула и чувствую, что коленкам неприятно, перевожу взгляд со следователя себе на ноги. Черешня! Злополучная коробочка стоит у меня на коленях, и на юбке расплывается мокрое холодное пятно.

– Так что скажете? – напоминает следователь. – Ничего подозрительного не замечали в последнее время? Может быть, деньги вдруг появились у вашего мальчика?

– Нет-нет-нет, – твердим мы хором. Потому что правда нет, не было у него никаких случайных денег, сколько по утрам давали карманных, столько он за день и тратил.

– Ну а, может, люди какие-то подозрительные? – продолжает следователь.

Мы пожимаем плечами, переглядываемся – тоже вроде нет, да кто ж теперь поручится, мы же и не следили никогда...

– Ну а сам он? – спрашивает следователь.

– Сам? Что сам?

– Что-то странное в поведении? Зрачки, может, расширенные? Или возбуждение чрезмерное?

И что ей ответить? У него близорукость, очень сильная, минус восемь, они у него всегда расширенные, с детского сада еще... и что мы можем сказать о «чрезмерном возбуждении», если человек вот только что сдал ЕГЭ и отгулял выпускной?.. Господи... а я-то переживала, что у него по математике всего восемьдесят два балла... Дура, дура!!!

– Ну ладно, – говорит следователь. – Заберите вещи.

Нам выдают вещи: ремень, шнурки и очки, ключи от дома.

– А как же?! – Я держу очки в руке, не зная, что теперь с ними делать.

– Вы понимаете, – говорит Андрей тихо и очень вежливо (верный признак, что он сейчас в ярости), – у мальчика близорукость, он без очков не может.

– Не положено, – чеканит следователь. Без злости и раздражения – почему-то я это сразу чувствую, а Андрей – нет, и он начинает спорить.

Градус разговора стремительно повышается, я протягиваю руку и кладу мужу на колено:

– Андрей. Не надо. Перестань.

– А если он этими очками вены себе?! – раздражается следователь. – Думаете, это что, просто так вам правила?! Ради вашего же блага!

– Это как же?! – говорит Андрей запальчиво.

– А вот так! Стекло вынет, побьет и... или вон дужку наточит!

Я думаю, что «наточит дужку» – это вовсе бред, как в дурном тексте, но предпочитаю молчать. Это ощущается на уровне инстинкта – следователя раздражать не надо, можно навредить Ваньке.

Потом опять провал. Ванька сидит на первом этаже, в обезьяннике. Это темная гулкая клетка примерно три на четыре, с узкими деревянными лавочками по стенам. Ванька поближе к свету, ест булочки и нарезку. В углу ютится какой-то тощий гастарбайтер неопределенного возраста, нахохлился и зыркает на жующего Ваньку. А мы стоим у решетки и тоже смотрим, как ребенок ест.

– Иван, ну что же это такое, – говорит Андрей. – Ты же тут не один, предложи человеку.

Провал. Ванька и гастарбайтер жуют уже вместе. Молодой тоже пацан оказался, когда из тени вышел, может быть, даже Ваньки помладше. Булочки, пирожные, молоко – все это очень быстро кончается.

Черешню не разрешили, и я до сих пор держу злополучную коробку, не зная, куда ее деть. Пыталась объяснить дежурному, что она мытая, а он так странно посмотрел и спрашивает: «А говнище после нее потом куда?» Говнище – это он про косточки, а не чтобы обидеть. В обезьяннике нет мусорного ведра, и не на пол же косточки плевать, а пакет тоже отобрали, разрешили только продукты.

Илья Валерьевич появляется непонятно в какой момент, точно он волшебным образом соткался из воздуха. Мы уже не в полиции, а стоим во дворике за забором, вокруг скамейки, но почему-то на нее не садимся. У Ильи Валерьевича толстый, благородно потертый портфельчик и немного зловещий вид, он похож на пирата. Это бесплатный адвокат. Так положено при каждом задержании. Он объясняет, что будет работать с нами до избрания меры пресечения и суд по этому поводу состоится уже в понедельник, а там – как мы сами захотим. Мы только киваем, как китайские болванчики, «захотеть» – это слишком для нас сложное понятие... удивительное дело, но, оказывается, какой бы ты ни был по жизни бравый и логичный, когда что-то подобное происходит с твоим ребенком, сразу становишься дурак дураком и руки опускаются, ничего не способен делать, а только идешь куда скажут... интересно, это у всех так?

Илья Валерьевич задает нам про Ваньку всякие разные вопросы, делово кивает, иногда переспрашивает. Когда доходит до «только что окончил школу» и «три дня назад восемнадцать», хмурится и бормочет:

– Скверно... Вот это не повезло вам. Надо же, как скверно...

– Что скверно? – Мы с Андреем пугаемся еще сильнее, хотя, казалось бы, куда больше-то?

Скверно, что сейчас наш Ванька формально безработный. Нигде не работающий и не обучающийся подозрительный совершеннолетний гражданин, пойманный на торговле наркотиками. Отсутствие работы или учебы – однозначно отягчающее обстоятельство.

– Но как же?! – кипятимся мы. – Он же школу, вот только что... выпускной... в институт подавать через две недели...

Однако вся эта лирика в суде никого не волнует, по словам Ильи Валерьевича. Факт остается фактом. Не учится. Не работает. Пойман с поличным. И совершеннолетний, то есть полная ответственность.

Я не плачу. Просто стою и трясусь, хотя на улице жара глухо за тридцать.

Потом опять провал. Я уже откуда-то взяла чистую пару носков и сую их Ваньке через решетку. Он забирает, начинает переобуваться. Кроссовки без шнурков, с вываленными наружу языками, смотрятся по-сиротски. А я наблюдаю за сыном и с ужасом понимаю, что он – не боится. Первый шок прошел, и теперь – это прямо видно по глазам – все происходящее этот поросенок воспринимает как *приключение*. Хочется взять что-нибудь, веник какой-нибудь или, я не знаю, мухобойку, и бить, бить этого идиота по заднице, по лбу – чтобы понял... Ванька скатывает грязные носки в комочек и стыдливо сует через решетку мне. Гастарбайтера уже нет, Ванька в обезьяннике один. И на скамейке опять еда – значит, мы принесли ему обед. Интересно, почему черешню нельзя, а бананы – можно, от них же кожура, и выкинуть тоже некуда?

А на улице Илья Валерьевич, которого, видимо, уже пустили поговорить с Ванькой, наконец-то объясняет нам вкратце, что произошло.

Ваньку подставили. Типичное дело. Приятель позвонил, попросил купить дозу, точнее, несколько доз, у другого приятеля. «Ты расплатись, я сразу отдам». Ну вот, Ванька купил, расплатился и понес. И даже (господи, ну как, ну зачем?!) еще у другого друга денег для этого занял до завтра, своих-то у него столько не было. Договорились встретиться прямо у нас в подъезде. А в подъезде Ваньку уже ждали...

Но как такое возможно? – не понимаем мы. А просто, объясняет Илья Валерьевич. Этот приятель, который наркоман, – на него Ваньку ловили, как на живца, распространенный метод. Чтобы его самого не закрыли, он и привел в подъезд наркоконтроль. Чтобы самого-то не закрыли, надо обязательного кого-нибудь сдать вместо себя, понимаете? Вот... а тут Ванька.

Ничего мы не понимаем, кроме одного. Никакая это не ошибка. Ванька нес наркотики. И, формально, действительно их продал там, в подъезде. То есть передал человеку, и тот в ответ дал ему купюру в пять тысяч рублей, разумеется, меченую.

– В особо крупных размерах, – добивает нас Илья Валерьевич.

– Как?! Как в особо крупных?!

И опять все просто. Это был гашиш. А он же легкий, маленький. Ну что там этот кулечек на взгляд непосвященного молодого идиота... все это, вещества в смысле, оно же считается на граммы, и особо крупный размер – это не килограмм и не тонна, не мешок и не брикет, а такой же крошечный кулечек... и вообще, перекреститесь, мамочка, что это был не героин...

Крещусь ли я? Не исключено, что крещусь.

А потом опять провал, дело к закату, солнце оранжевое, тени длинные... Ваньку выводят с крыльца, а мы с Андреем топчемся у ворот (Илья Валерьевич уже не с нами, пропал куда-то). Ванька идет, опустив голову, в сползающих штанах, хлюпая расхлябанными кроссовками, без очков, подсвеченный оранжевым солнцем, за ним тянется длинная-длинная тень... он идет, держит руки на животе, и я начинаю беспокоиться, не болит ли у него живот – шутка ли, целый день всухомятку, на пирожных и бутербродах, но, когда он поворачивается, чтобы лезть в полицейский «бобик», и протягивает обе руки, стараясь схватиться за ручку и взобраться в машину, на запястья его попадает и яростно отражается солнечный луч, и я понимаю, что мой сын – в наручниках.

Глава 4

Самое мучительное в следующие три дня – общение со свекровью.

– Леночка, где Ваня?

– Уехал.

– Куда уехал?

– К друзьям.

– Надолго? К каким друзьям?

– Не знаю.

– Нет, ну вот куда вы смотрите, а? Родители! Институт на носу! И это что же, он не готовится, а гуляет три дня?

– Вера Николаевна, пожалуйста. Пусть ребенок отдохнет. Пожалуйста!

– Нет, ну я ничего такого не говорю... но вот если по уму, то, знаете пословицу, «сделал дело и гуляй смело». Сначала уж поступи. А уж потом на дачу. Андрюша, верно я говорю?

– Да, мама, верно. Давай потом это обсудим. Прошу.

– Нет, ну вот я же ему добра желаю. – Обиженно: – Один он у меня внук! Кому, как не ему... а он вдруг на целых три дня... на какую-то дачу... а экзамены... непонятно... где эта дача? Леночка?

– Не знаю...

– Как это не знаю?! – Брови вверх.

– Ну, допустим, в Рузе.

– Допустим? Андрюша! Что это значит?! Что значит это ваше «допустим», скажите на милость?! Леночка, а они там не пьют?

– Нет!

– Точно?

– Да!!! Они. Там. Не пьют!

– Нет, ну а что я такого... молодежь нынче пошла, сами знаете... – И так все три дня, до самого понедельника, с крошечными перерывами, и хочется сказать ей правду, объяснить, так мол и так, Вера Николаевна, ваш любимый единственный внук сидит до понедельника в СИЗО и ждет суда об избрании предварительной меры пресечения, потому что его подставили на наркоте. И нет, я не представляю, как это вышло, даже близко я не представляю, как получилось, что он нес эти чертовы наркотики какому-то своему непонятному приятелю... и нет, он там не пьет, точно и железобетонно нет, он там *сидит*... *В тюрьме!!!* И лучше бы он пил на даче, знаете, насколько лучше?!

Мне не хочется ее уесть, вовсе нет. Но я бы с радостью переложила часть вот этого всего... как назвать-то?.. Груза? Пафосное какое-то слово... и я бы переложила, поделилась, но это нельзя категорически, у свекрови уже было два инфаркта, не хватает нам еще третьего, то-то была бы вишенка на торт... и дело не в том, что мне жалко свекровь (хотя и это тоже), но если сейчас ко всему, что происходит, добавится еще кардиореанимация (или что похуже)... не хочу об этом думать. Не буду думать об этом. Не сейчас. Подумаю об этом в понедельник.

У нас три дня, и Илья Валерьевич велел собирать разные грамоты, характеристики с места учебы, всё-всё, что мы найдем хорошего о Ваньке, и еще разные выписки от офтальмолога – всё-всё, что мы найдем о Ванькином здоровье плохого, – и, выбивая в поликлинике Ванькину карту «по требованию» на руки, выбивая выписки и заключения, я ловлю себя на мысли, что отслоение сетчатки, которое лечили в середине июня между экзаменами – это очень-очень кстати... *отслоение сетчатки – кстати*, да, именно так я и думаю, врач тогда сказал, это у него на нервной почве, и потом ему прижигали что-то, мы в больницу несколько раз ездили, а теперь все эти бумажки о лечении, сказал Илья Валерьевич, могут дать нам шанс...

То есть, если по-честному, он сказал, что шансов почти нет и до суда – «готовьтесь, мамочка», – мальчик, всего вероятнее, проведет в предварительном заключении – ДВА МЕСЯЦА! А вот после – после шанс появляется. Маленький, но это лучше, чем никакого. И тут уж от нас зависит, поэтому «собирайте бумажки, все, что сможете найти». И в пятницу я с боем раздобываю все Ванькины медицинские бумаги по зрению, уф. А Андрей берет характеристику на Ваньку в велоклубе у тренера (мировой мужик, ни о чем не спрашивает, все понимает, предлагает посильную помощь, в том числе, если понадобится, деньги) и еще в местной спортшколе, где Ванька раньше занимался хоккеем, пока его по зрению не завернули. Сложнее с учителями. Из школы ведь тоже нужны бумаги, по словам Ильи Валерьевича, они и будут «основным документом», но выпускной прошел, учителя все разъехались в отпуска, где их теперь искать? Звоню классной – классная в Новороссийске у сестры. Звоню математичке (у них с Ванькой полное взаимопонимание и дружба с момента знакомства) – математичка в Омске у матери. Физичка все три дня не берет трубку (может, в роуминге?). Русский-литература прямо в момент звонка в аэропорту, связь поэтому срывается и ничего не слышно, так что я не понимаю, куда она летит... да и какая разница... что ж такое-то, а? Звоню историчке, просто от отчаяния, она у нас старой закалки, с принципами, Ваньку потому терпеть не может, у него же максимализм, он спорит все время, но я звоню все равно, и, ровно назло, она единственная оказывается в городе и ничем не занята, я звоню и что-то непонятное вру и даже не помню, что именно, пытаюсь объяснить, зачем мне вдруг понадобилась для сына характеристика из школы, а историчка кобенится изо всех сил, но бумагу дать все же соглашается, и я посылаю, для солидности, за ней Андрея (он производит на теток с принципами благоприятное впечатление). Он возвращается с бумагой – такого содержания, что никакой помощи, кроме вреда, она оказать Ваньке точно не сможет. Там про неуравновешенный характер и дерзкое поведение. Что ж, историчка осталась верна принципам и постаралась быть честной. Она так видит. Я испытываю приступ бессильной ярости и некоторое время думаю об историчке чистым матом – не могу успокоиться. А уже время. Уже суббота, вечер. Остается один день до первого суда. Господи, как мне страшно. Ванька. Что он там делает сейчас, в СИЗО? Я стараюсь не думать об этом. Туда не пускают. Можно пойти и нервно ходить под окнами, а можно собирать бумаги и попытаться помочь делу – так сказал Илья Валерьевич, – и мы собираем бумаги.

Андрей вчера раздобыл положительную характеристику с подготовительных курсов в универе, очень толковую и лаконичную. Я расцениваю это как чудо. Когда муж показывает мне бумагу, я начинаю плакать на второй строчке (но очень быстро успокаиваюсь, иначе свекровь опять замучит вопросами).

Свекровь – это голос за спиной:

– Леночка, а вы Ване звонили сегодня? Как он?

– Звонили. Все нормально. Отдыхайте.

– А у них там точно все хорошо?... Они там не пьют?

– Нет. Они не пьют!

– Ох... и как же это он так безответственно?... Экзамены на носу... Ох... и зачем ему эта дача?

Ванькины грамоты, начиная с первого класса и до одиннадцатого, все хранятся у свекрови в среднем ящике комода. Неожиданно трудно оказывается их оттуда выволить, не вызывая вопросов, и у нас с Андреем целый план, как это устроить потихонечку. Он отвлекает маму, ведет с ней на кухне светскую беседу, а я под видом уборки, с ведром и тряпкой, захожу к ней в комнату, проникаю в комод и выкрадываю пластиковую папку с Ванькиными благодарностями и наградами за одиннадцать лет, в том числе спортивными (пока зрение не стало падать катастрофически и ему еще было можно). Я точно знаю, где хранится папка, но психую так, что не сразу нахожу ее в комодке, хотя в итоге она оказывается на самом видном месте. За стеной

слышны голоса. Андрей вставляет отрывочные реплики, Вера Николаевна обстоятельно агитирует его за топинамбур. Опять. Впрочем, сейчас это даже кстати.

Наконец-то выкрав папку и вытерев по всей комнате пыль – все эти полочки с псевдомедицинскими книжками и разнокалиберных фарфоровых гадов, все вазочки и шкатулки, – я прихожу на кухню. На столе, как была в коробке, проклятая черешня. Надо ее съесть уже или выкинуть, а то подгниет, и мошки полетят. Тянусь к коробке, свекровь придерживает мою руку.

– Лена, оставьте Ванечке! Он в понедельник придет и поест, ему витамины нужны!

– Да не при... – начинает Андрей с досадой и осекается.

– Не долежит она до понедельника! – звонко перебиваю я и хватаю коробку. Вываливаю ягоды в дуршлаг (только сейчас вспоминая, что они вроде как мытые) и сую под тугую струю воды. – Вы ешьте, Вера Николаевна, ешьте. Купим мы ему еще витаминов!

– Ну, разве немножко... – мнется свекровь. – А ему точно не оставить, нет?

– Нет!!! – говорим хором, и она смотрит на нас в крайнем недоумении.

А вечером в воскресенье, когда кажется, что больше уже ничего невозможно сделать, у нас очередное маленькое чудо – характеристика от завуча! Мы вспомнили о завуче случайно, ведь она у Ваньки последние два года ничего не вела, завуч у нас географию преподает, так вот, мы вспомнили, позвонили, и она с радостью согласилась написать характеристику на Ваньку! И тогда мы подорвались на вокзал – как раз она уезжала с группой на юг, работать в лагерь для одаренных детей, Ванька тоже туда ездил каждое лето, когда был помладше. Наша Людмила Евгеньевна – не человек, а чистое золото. Она пишет свою характеристику прямо на чемодане, отвлекаясь только, чтобы пересчитать своих, которых скачет вокруг сорок человек, и распорядиться. До поезда на Николаев остается всего ничего, его подадут вот-вот. На вокзале толчея и духота. И грохот – но я его не слышу. Характеристика нежнейшая, Ванька по ней получается кругом молодец. В голове не к месту всплывает и цепляется фраза из модного фильма: «Клювокрыл хороший гиппогриф и всегда чистил перья». С ней, неотвязной, я и возвращаюсь домой.

– Ванечке звонили?

– Да.

– Все хорошо?

– Да.

– А он когда вернется? Завтра?

– Да. Наверное. Я не знаю.

– Он что, может задержаться?

– Да!

Он может задержаться. Он вообще *задержан!* Хочется крикнуть это свекрови в лицо, но какой смысл? «...хороший гиппогриф и всегда чистил перья... всегда чистил перья».

– Я завтра утром схожу ему за черешней? Да?.. Лена?

– Да. Хорошо. Утром – за черешней.

– У вас что-то случилось, да?

– Нет!!! – хором.

– Нет, ну а что я такого спросила, а? – поджав губы: – Вы который день странные какие-то, вот я и...

– Нет!!! – хором.

Свекровь, обиженная, отбывает в свою комнату. Я немножко ей завидую. Она ничего не знает. Мне бы тоже хотелось думать сейчас, будто Ванька на даче. И вообще – свекровь хоть спала, а у нас с Андреем, честно сказать, не больно-то получилось.

Глава 5

Слушание назначено на одиннадцать, и Илья Валерьевич велел нам прийти за час, чтобы обсудить «кое-какие нюансы», но мы, конечно, оказались на месте почти за два с половиной. Коридоры тут как в фильме ужасов, не совру: серые стены, редкие лампы дневного света и тревожный полумрак. По стенам железные стулья, тоже светло-серые, с дырками. Чувствуешь себя на таком как на дуришлагае – холодно и жестко. По ногам откуда-то сквозняк, хотя на улице с самого утра страшная жара.

Сейчас мы сидим в коридоре уже втроем с адвокатом, и про истекшее до прихода Ильи Валерьевича время, проведенное здесь, я ничего не помню, кроме того что оно очень медленно шло. Мы сидим, Илья Валерьевич перелистывает нашу папку, в которой справки, грамоты и характеристики. Что я думаю про Илью Валерьевича? Честно признаться, уже не знаю. Сначала он меня немного пугал, но в тех обстоятельствах, при которых мы познакомились, меня пугало все, так что это не показатель. А сейчас? Нормальный (вроде) спокойный мужик чуть за пятьдесят, немножко усталый. Точно не понторез, и, общаясь с ним, мы не чувствуем себя идиотами, хотя, видит бог, мы не знаем о нашей ситуации почти ничего. Если задать Илье Валерьевичу конкретный вопрос, он дает конкретный ответ – насколько возможно, и это представляется очень ценным. Мы начитались в интернете всяких ужасов о бесплатных адвокатах, но этот надуть нас, похоже, не пытается. Даже о деньгах пока ни разу не заикнулся. Говорит: все потом, пусть пройдет заседание.

В день знакомства, когда Андрей его спросил – осторожненько, но довольно конкретно: может быть, кому-то сколько-то дать, чтобы замять дело, ведь явно же речь о подставе и ребенок не виноват, Илья Валерьевич только головой покачал. И объяснил – если денег сразу не попросили, прямо ночью, значит, целью были не деньги. А, например, раскрываемость. И если денег... «А денег точно не просили у вас?» – «Точно! Да неужели бы мы... То есть мы небогатые люди, но нашли бы...» и если денег точно не просили, то, похоже, упомянутая «раскрываемость» как раз наш случай. И вообще, запомните, дорогие родители, на будущее – ибо мало ли что и кого из нас ждет в будущем, – как только дело документально оформлено, забудьте уже о том, что можно запросто откупиться... Откупиться у нас бывает можно, да, даже врать не стану, но только «до» – да и то по нынешним временам не факт, что это поможет.

Эта его прямота нам с Андреем понравилась тогда... в смысле «понравилась» – слово не самое удачное при наших обстоятельствах, но как-то сразу стало Илье Валерьевичу больше доверия. А теперь он сидит, листает Ванькину папку, предварительно отложив стопочкой медицинские бумажки на свободный стул, читает характеристики и разглядывает грамоты. Тут и самые свежие, с выпускного, – за хорошую учебу и высокие в ней результаты, за активную работу в классе, за умение «по-настоящему дружить с одноклассниками и учителями»...

– Умение дружить... – задумчиво тянет Илья Валерьевич. – Когда я говорил с вашим мальчиком... Боюсь, именно «умение дружить»... Я думаю, в конечном итоге именно из-за него он здесь...

Мы в растерянности смотрим на адвоката, пытаюсь уловить мысль. Чего плохого в дружбе?! А Илья Валерьевич продолжает:

– Он ведь не просто так этот гашиш-то нес, вы поймите. Его же друг попросил. Сказал, мол, плохо мне, умираю без дозы... Понимаете?

Что уж тут непонятного. Это так похоже на Ваньку. Друг в беде. Другу помощи, не задавая вопросов... Я ежусь и без успеха пытаюсь устроиться поудобнее. Жмусь к Андрею, и он обнимает меня за плечи, трет их, стараясь согреть. Какие же тут все-таки стулья отвратительные, просто слов нет!

– Хороший, видно, парень у вас, – говорит Илья Валерьевич, откладывая последнюю грамоту.

Она из велоклуба, и там тоже что-то про взаимовыручку. Это они прошлым летом в Карелии катались. Илья Валерьевич откладывает грамоту и раздумчиво вздыхает, и от этого вздоха у меня вдруг возникает очень странное ощущение – как будто голова изнутри чешется, ото лба и до макушки, и кожа от этого словно бы немного перемещается... вот интересно, не это ли ощущение описывают люди расхожей фразой «волосы шевелятся на голове»?.. А следом догоняет другая мысль: в любой непонятной ситуации – работай. Собственно, эти рассуждения об этимологии в коридоре суда – типичный пример, как я спонтанно начинаю думать о работе в моменты, когда боюсь подумать о другом.

Андрей смелее меня – гораздо, гораздо смелее, – и он задает прямой вопрос:

– Чего нам ждать?

– И хотел бы вас утешить, да нечем, – отвечает Илья Валерьевич и, в лучших традициях, разводит руками. – Я буду ходатайствовать за то, чтобы мальчика отпустили под подписку о невыезде до основного суда... вот и зрение у него... он ведь без очков не может, и это при наших обстоятельствах хорошо... но... не хочу вас пугать, только и обманывать смысла не вижу... на моей памяти ни одного человека под подписку не отпускали... то есть вообще ни одного... вот после основного суда условные сроки – это еще помню... тоже крайне редко, однако случалось при благоприятном стечении... а так, чтобы до суда... нет... не было такого... вы поэтому пригото...

Илья Валерьевич говорит, и говорит, и говорит, а мы с Андреем слушаем, и слушаем, и слушаем замерев. *Тупо* слушаем – самый точный эпитет, когда тебе логически объясняют, что шансов нет. И тут – тоже как в каком-то кино, я это прямо чувствую – на лестнице раздаются стремительные шаги, и я сразу почему-то понимаю, что эти – *наши*, хотя в коридоре не сказать чтобы совсем никого, эти – точно наши. И действительно – к нам приближаются *наши*. Впереди шагает Ванька, выставив ладони перед собой, как будто несет в пригоршне воду и боится ее расплескать, а за ним следует добрый молодец, косая сажень, такой высокий, что едва не скребет затылком по низкому потолку. Ванька не сразу замечает нас, потому что он без очков, да в коридоре к тому же темно, плохо видно, будь у тебя зрение хоть единица. Мы вскакиваем, пытаемся идти навстречу, но нас оттесняют, не дают Ваньку даже обнять, даже просто нормально сказать «здравствуй» не дают, и вот уже вся кавалькада скрывается в проеме непонятно когда распахнувшейся двери. Следом впускают Илью Валерьевича, а когда мы пытаемся войти тоже, дверь закрывается перед нами.

Это называется «закрытое слушание».

Следующие непонятно сколько минут мы с Андреем сидим, притиснувшись друг к другу, и гипнотизируем закрытую дверь.

Когда она открывается, первым выходит наружу давешний амбал и останавливается посреди коридора, придерживая ее за ручку. Сердце спотыкается. Сейчас будут *выводить*. Дальше пауза, и на порог выступает Ванька. У Ваньки в руках бумажка. Белый листок формата А4. В руке! То есть – в одной руке, потому что Ванька – без наручников. Он подслеповато щурится, выйдя со свету в темный коридор, и с некоторым сомнением – мы или не мы – идет в нашу сторону. И тогда я на нем висну. С разбегу. И больше никто меня не удерживает, не отстраняет.

Уже обняв сына, стиснув так, что он бормочет смущенно: «Ну чего ты, мам, задушишь», я бросаю взгляд у него из-за плеча и вижу, как из зала выходит Илья Валерьевич. То, как нервно он пытается закрыть свой портфельчик (а тот не дается), говорит о крайней растерянности. Илья Валерьевич отрывается от этого безуспешного занятия и смотрит на нас – он в недоумении.

– Отпустили под подписку, – говорит Илья Валерьевич, как будто сам себе удивляясь. И не к месту прибавляет: – Нет... ну надо же!

Даже несмотря на последнюю фразу, я сейчас готова его расцеловать.

Андрей у меня за спиной откашливается, и я уступаю ему Ваньку. Отец и сын обнимаются по-мужски, хлопают друг друга по спине (наверное, мне никогда не понять – это похлопывание, оно зачем?). Илья Валерьевич подходит поближе и вдруг расплывается в улыбке. Говорит:

– Ну вот значит как. И это – пре-це-дент!

– И это... это же все теперь, да? – лепечу я, преданно заглядывая ему в глаза снизу вверх. – Его же теперь совсем отпустили, да?

Илья Валерьевич смотрит на меня как-то странно.

– Суд в конце августа, – напоминает он после небольшой неловкой паузы. Называет число.

– Суд?.. А это сегодня что, не...

– Елена Владимировна, ну я же вам объяснял, – говорит адвокат с досадой. – Сегодня Ивану была выбрана мера пресечения. До следующего, главного суда. И это в нашем случае – подписка о невыезде.

Я накануне гуглила подписку о невыезде, но все равно зачем-то уточняю:

– А ему теперь из дома можно будет выходить? Хоть иногда?

И опять Илья Валерьевич смотрит странно (а если совсем честно – он смотрит на меня как на чокнутую).

Я наивно думаю, будто Ваньку можно сразу забрать домой, – не тут-то было. Его сейчас вернут в СИЗО на несколько часов, а Илья Валерьевич за это время должен съездить к районному следователю и подписать документ – да-да, ту самую бумажку, которую Ванька зажал в руке и уже немного помял в процессе воссоединения с семьей, – и поэтому Илья Валерьевич ее отбирает, прячет в папку-файл, файл отправляет в портфельчик и – ура! – наконец-то его застегивает.

Только когда документ окажется подписан, можно будет поехать с ним в СИЗО, где и дадут вместо него Ваньку – с рук на руки, – поэтому Андрей немедленно вызывается сопровождать Илью Валерьевича. Ну а что? Все равно же с работы отпросился; чем ждать, лучше двигаться и быть при деле. Это он оправдывается так перед адвокатом. Как будто это все требует оправданий.

Некоторое время мы топчемся на улице у здания суда, провожая Ваньку у «бобика», на котором его доставили и сейчас повезут назад. Андрей и Илья Валерьевич курят, Ванька стоит между ними и что-то возбужденно рассказывает, размахивая свободными руками; «добрый молодец» отошел в сторонку и звонит кому-то, называя абонента «ну, зая», а я захожу общение с дежурной, которая мается на переднем сиденье, одетая по всей форме. Конечно, и рукава у рубашки короткие, и ткань не такая уж плотная, летняя, но по сегодняшней жаре этого вполне достаточно, чтобы истечь потом и возненавидеть человечество. Однако полицейская женщина ничего, держится, только время от времени оттирает лоб скомканным платком. Она сперва зыркала на нас, на Ваньку, но потом-то поняла, что он без наручников, а стало быть, наверное, не бандит.

– Ох... молодые, глупые... – тянет женщина.

Я согласно киваю.

– Вляпаются не пойми во что, а нам потом...

Я согласно киваю.

– Вот и мой-то... в прошлом-то году... – говорит она и утирает лицо (а я придаю своему – на всякий случай – сочувственное выражение). – Сколько вашему?

– Восемнадцать.

– Вот-вот, восемнадцать... Молодые, глупые... – опять вздыхает женщина. – А моему-то скоро двадцать пять, но ума все равно ни в одном глазу.

Я в очередной раз киваю и машинально отмечаю про себя: какая складная формулировка. «Ума – ни в одном глазу!»

Потом мы еще немного обнимаемся с Ванькой на прощание, и я стараюсь не позорить сына своими охами и вздохами: и так ему, бедному, досталось за последние несколько дней. «Бобик» увозит Ваньку в одну сторону, Илья Валерьевич выгоняет со стоянки свою «ауди» и везет Андрея в другую, а я чувствую, что мне сейчас необходимо пройтись пешком, и отправляюсь на колхозный рынок, где покупаю для Ваньки целый мешок черешни – черной, сладкой и такой огромной, будто это не черешня, а алыча.

Глава 6

Из большой комнаты – взрыв гогота. К Ваньке пришли одноклассники, вся его компания. Я помню большинство из них с первого класса: их взъерошенные челки и цыплячьи шейки, их гладиолусы выше головы на Первое сентября, а теперь они даже хохочут басом, у них щетина и кроссовки сорок пятого размера... Наверное, я никогда к этому не привыкну. Свекровь выплывает из своей комнаты и бросает в сторону Ванькиной приоткрытой двери взгляд, полный негодования. Зыркает и отправляется на кухню. Весь ее вид говорит «Позор!»; чем заниматься, готовиться в университет... и они еще смеют реготать!

А Ванька – он, вернувшись домой, три дня лежал. То есть буквально, лежал на своем диване, подтянув колени чуть не к подбородку – у психологов, по-моему, именно это называется «позой эмбриона» и считается признаком чего-то там... глубокой депрессии?.. Он лежал три дня, молчал, ничего не рассказывал, не слушал музыку и не включал компьютер, придремывал, просыпался и через десять минут уже снова дремал, не ел, не пил, а мы не знали, как к нему подойти, но Вера Николаевна, конечно, была уверена, что это похмелье. И – Господи! – как же она на нас с Андреем смотрела!

Плохие родители. Отпустили ребенка на три с половиной дня на какую-то непонятную дачу в какую-то непонятную Рузу, и теперь, извольте, он лежит пластом – явно он там вообще не спал, а пил. Пиво или, того хуже, *водку!* Потому и лицо зеленое, и аппетита нет... «А вы вас предупреждала!» – и губы в ниточку, и гнев в каждом движении. И в кои-то веки мне абсолютно все равно, что подумает свекровь. Я даже чувствую радость оттого, что она придумала себе эту версию. Так всем спокойнее, и в первую очередь самой свекрови, как бы она ни злилась.

Ребята пришли – завалились всем кагалом, – и Ванька наконец-то слез с диванчика, ожил. Добрый знак.

Заглядываю в комнату – что их так развеселило, действительно?

Ванька посреди зала на корточках – держится ладонями за ягодицы, слегка пружинит на месте. Объясняет бодрым голосом:

– Прикиньте, ребята! Вот прямо так! Только голый! Три раза! – Он поднимается и опять приседает.

Новый взрыв гогота.

Воздуха в грудной клетке внезапно становится слишком много – фшух, и ребра буквально распирает изнутри, делается трудно дышать. Наверное, так срабатывает подушка безопасности в машине – удар, и она уже заполнила собой все свободное пространство...

Я притворяю дверь и некоторое время стою, не отпуская ручку... А ведь это он показывал, как его обыскивали там, в СИЗО. Как настоящего наркокурьера, по всем правилам. Раздели и заставили приседать, на случай, если... чтобы... когда... ну в смысле если бы он что-то решил спрятать в анальном отверстии, то в такой позе оно должно было выскочить, спрятанное, – хотя бы с третьего раза. Стандартная процедура, мы на форуме читали...

Подходит муж, обнимает меня за плечи и уводит в нашу комнату, одними глазами спрашивает: «Что?» – и я опять начинаю плакать... если бы кто-то мне сказал, что во мне такие запасы слез, я бы не поверила, пожалуй...

Надо подумать о чем-нибудь хорошем, срочно. Например, о черешне. Ее доели только сегодня, потому что в тот день Вера Николаевна тоже принесла целый килограмм, не такой огромной, как я с рынка, а из «Пятерочки», по акции, но все равно, в доме скопилось небывалое количество черешни – ели ее, ели, а она никак не доедалась... хорошо, что сегодня пришли мальчишки, умяли наконец-то все остатки, теперь у Ваньки в комнате косточек – полная миска. Наверное, надо бы зайти и убрать, но я не хочу туда заходить, ноги не идут.

– Все хорошо, – говорит Андрей тихо. – Насколько это возможно.

И я киваю. Главное, не думать о следующем суде.

Достаю платок. Ни к чему ходить заплаканной, особенно перед свекровью. Она придумала себе хорошую версию – вот ее пускай и придерживается.

В дверь звонят, и я дергаюсь. Так сильно, что самой становится страшно. Сводит лопатки. «Откройте, полиция!» А вдруг это опять *они?*..

Андрей бросает на меня быстрый взгляд и отправляется открывать сам.

В коридоре шебуршение и приглушенные голоса, женские.

Заставляю себя выглянуть.

О, вот и девочки. Юля и Марина. По их виду сразу понятно: они все знают. На лицах – смесь ужаса, восторга и любопытства. Ванька в последние два года пытался с ними «дружить», и с одной, и с другой. Но дальше дружбы дело никак не двигалось, и еще пару недель назад его это очень печалило. Все думал, с которой из них танцевать на выпускном, чтобы не прогореть. Но, конечно, ничего у него и на выпускном не вышло. А теперь? Если верить литературным источникам, теперь Ванька для них должен сделаться привлекательным, как какой-нибудь Онегин или Печорин. Романтическая личность. «Кто он? Герой или преступник?» Время движется, люди не меняются... Еще и подерутся, пожалуй, за право подобраться к Ваньке поближе. И смех и грех.

– Проходите, девочки, не стесняйтесь.

Тетя Лена, мы тут... Ивану... принесли. – И Марина протягивает мне прозрачный пакет, полный черешни. Эта – желтая.

Глава 7

В месяцы, оставшиеся до суда, самый сложный квест – устроить Ваньку на работу. Илья Валерьевич подробно объяснил: судьям все равно, что мальчик едва окончил школу и собирался в университет. По документам он нигде не работающий совершеннолетний подозрительный элемент, не имеющий самостоятельного официального дохода, и, стало быть, принадлежит к группе риска и имеет к преступлению мотив... Я постепенно привыкаю к этому словесному ряду: *мотив, преступление, подозрительный, подследственный*... Как устроить на работу *подследственного*? Соврать? Во вранье – ни малейшего смысла. Лишь только появится у Ваньки официальная работа, появится и необходимость в характеристике с места работы, для суда, – и все немедленно всплывет.

Мы, кажется, уже всюду обратились, где было возможно, спросили всех-всех своих друзей и друзей друзей – и результат, конечно, нулевой. Тем вроде и неудобно отказывать, это видно, но помочь все равно боятся – уголовная статья, да еще такая, как у нас... Получается, обижаться тут не на что, но и что предпринять – непонятно, поэтому я в панике и Ванька старается не попадаться мне на глаза. Последний раз он вел себя так, кажется, классе в седьмом, когда, не проездив и недели, сорвал тормоза у нового велосипеда.

Друзья к нему всё ходят, ходят... Сочувствуют, галдят, строят планы по спасению, один нелепее другого. Тут же Юля с Мариной охают и в пылу сочувствия носят Ваньке всякие сладкие гостинчики. Он общительный, наш Ванька, знает, наверное, полрайона. Друзья ходят, одноклассники ходят, и меня начинает преследовать мысль: а тот, который его *сдал*, нарочно подвел под облаву, он тоже у нас бывал? Не сейчас, конечно. Раньше?

У Ваньки вечно проходной двор, как бы я ни сопротивлялась.

«Патологически общительный», – так определил Илья Валерьевич. И он прав. В Ваньке всегда это сидело – и всегда пугало и меня, и Андрея. Желание понравиться всем, быть удобным. Любой ценой помочь встречному и поперечному. Со всеми перезнакомиться, перездороваться, ощущать себя частью максимально большой тусовки... Откуда это в нем? И что тут виной – доброта или слабость?

Постепенно, из обрывков разговоров с сыном, с адвокатом, с одноклассниками, вырисовывается личность нашего злого гения.

Его зовут Дима, Димыч (при упоминании этого варианта Илья Валерьевич делает многозначительное лицо, и нам приходится погуглить, что «димыч» значит на наркоманском сленге). Димычу уже исполнилось двадцать, но окончил школу он только в прошлом году, потому что оставался по два раза и в девятом, и в десятом (боги, ну зачем *таких* берут в старшие классы?!). И вот он доучился кое-как, с грехом пополам, и с тех пор ведет на районе ночную дискотеку, в кабаке у МКАД, в просторечье – «Телеге». Натурально там перед входом, как раз между кабаком и шоссе, вкопана покореженная деревянная телега, с виду насквозь гнилая. Слава у «Телеги», разумеется, самая скверная, «Телегой» родители пугают детей, когда хотят обозначить хрестоматийное злачное место, куда ходить не следует ни при каких обстоятельствах. Словом, этот Димыч – такой типичный маргинал, который вместе со своей «Телегой» все катится и катится по наклонной.

– А знаете, мамочка... – говорит Илья Валерьевич раздумчиво, – вам ведь повезло...

– Повезло?! – едва не ору я. – Это называется – «повезло»?!

– Повезло, – повторяет адвокат твердо. – Мы с Иваном поговорили... он ведь, этот Димыч, у него не гашиша просил. Вот уж нет. Просто ваш добренький неиспорченный ребенок ничего другого достать не смог, опыта не хватило. И денег...

– А что же тогда... – теряюсь я. И сердце в очередной раз ухает куда-то в пятки (еще одна фигура речи, подкрепленная, на опыте последних дней, вполне реальными физическими ощущениями).

Илья Валерьевич вздыхает и поднимает глаза к потолку, разводит руками. У него рубашка с коротким рукавом, загорелая кожа, сильные мускулы, чистые вены... Едва ли он нарочно так руки развернул, чтобы видно было, какие они чистые, но все равно, спасибо, дорогой Илья Валерьевич, я поняла.

Андрей за моей спиной делает то, чего я от него не слышала ни разу за двадцать лет брака: выдает длинную матерную тираду (как человек, постоянно работающий с текстом, я машинально отмечаю: весьма заковыристую и складно скроенную).

– Сидеть бы ему не пересидеть, не будь он такой наивный лопух... – добивает Илья Валерьевич. – Гашиш – это так, баловство. По сравнению, конечно... Вот только много он нес. Плохо.

Много – это, если я правильно запомнила, девять граммов. В голове немедленно заводится «девять граммов в сердце постой, не лови...» Или все-таки «не зови?» И нужен ли там предлог «в»? Иногда я думаю, что тексты – мое проклятие.

Мы ходим и ходим, просим и просим, ничего не получается, и, как всегда в стрессовых случаях, у меня начинаются неприятные шевеления в спине – пока еще слабые, но ощутимые. Я отлично знаю, во что это выльется через неделю-другую, если не принять меры.

И я записываюсь к районному неврологу.

Невролога (кто бы сомневался) опять сменили. На сей раз это задумчивый мужичок с багровым лицом, и я очень надеюсь, что это у него такой нетипичный цвет летнего загара, а не то, на что это похоже.

– На что жалуетесь? – спрашивает невролог. – Раздевайтесь. Повернитесь. Повернитесь. Наклон. Руки вперед. Пальцем до носа. Теперь левой...

Он тычет мне в поясницу и над лопатками.

– Так больно? А так? Хорошо. Наклон. Тут беспокоит? В ногу отдает?

О да, доктор. Еще как беспокоит. И тут, и вот тут, и, что называется, по периметру. И в ногу отдает, как без этого. А плечи так просто узлом завязаны.

– Одевайтесь... Присаживайтесь... – Доктор внимательно разглядывает мое лицо и тянет: – Э-э-э. Да у вас депрессия!..

Ах, нет, доктор. Никакая это не депрессия, это отчаяние! Прекрасное и точное, незаслуженно забытое русское слово. «Депрессия» – это где-то там, за границами нашей реальности. За границей. Там, где порядок и логика. Где, занимаясь от скуки самоедством или случайно загнав себя на работе ради вполне конкретной прибыли, социально защищенные люди идут к психологам за таблеточками от бессонницы, потому что в детстве мама их не любила. А у нас – только «отчаяние», только полная безысходность. И от тебя ничего не зависит. Вообще ничего.

Доктор пялится на меня, изучая; я, изучая, пялюсь на доктора.

– Вам нужно знаете что? – бодро восклицает он, и я przygotowляюсь выслушать рецепт. – Красное белье!

– Что, простите?

– Красное белье! – Глаза доктора сияют лихорадочно. – Красный цвет – он дает энергию! Вы не представляете, какой эффект!

Лицо у доктора уже не багровое, а цвета кремлевской стены. Из глубин памяти всплывает фраза «скончался апоплексическим ударом», набранная капслоком. Но тут же отмечаю машинально: это не из книги, это из фильма. Из какого?! Абсурд накатывает большой волной – и накрывает... Опять непроизвольно наворачиваются слезы.

– Вот видите! Вы уже и плачете! – сияет доктор. – Самая настоящая депрессия! – В голосе его – торжество. – Красное белье! Поверьте! Вы не пожалеете!!!
И я уйду. Даже забываю выписать направление на уколы.

Помощь, как это часто бывает, приходит откуда не ждали.

Один из наших постоянных авторов просматривает верстку и проверяет правку, пока я в другом конце комнаты жалуясь коллегам на жизнь. Не сказать чтобы я кричала, но помещенье после последнего переезда у нас крошечное, и он все слышит.

Он лауреат или как минимум финалист всех наших литературных премий и пары ненаших. Переведен на европейские языки и на китайский. У него тиражи и почет. Только я редактировала четыре его книги – а сколько их всего, я не помню. Про него говорят – «прижизненный классик» (не без иронии, но и не одной иронии ради). Характер у него, по общему разумению, довольно скверный, с редакторами – приличная случаю дистанция. Мне бы и в голову не пришло обратиться к такому человеку.

Тут я, собственно, опять не помню, как все происходит. Видимо, слишком велико удивление от происходящего. Вот наш классик откладывает верстку и невзначай интересуется, в чем, собственно, проблема, а вот он уже звонит по телефону какому-то Петру Евгеньичу и бубнит в трубку, обрисовывая Ванькину историю. А я переминаюсь неподалеку и ловлю себя на мысли, что классик помогает нам вовсе не из человеколюбия, а просто из спортивного интереса: получится или нет? На его обычно скучающем лице читается любопытство и азарт. Этот наш классик – он писатель-реалист. Ему нравится коллекционировать такие вот неладно скроенные сюжеты и наблюдать за персонажами внутри них... Я думаю так, и мне становится ужасно стыдно. Человек помогает – без корысти и уговоров, хотя его не просили, а я вместо благодарности стою и думаю про него всякие гадости... Да не все ли равно, зачем он это делает?! Главное сейчас – Ванька.

На следующий день мы всей семьей едем куда-то в центр, в одну из тех многочисленных, немного зловещих промзон, которые лепятся обычно около любого московского вокзала. В таком месте обязательно встретишь остов ржавого какого-нибудь жигуленка, трансформаторную будку в граффити, старые скрипучие ворота, запертые на висячий замок, и стаю бродячих собак; и обязательно будет ветер, он поволочет вдоль дороги, по которой ты шагаешь, ошметок пожелтевшей газеты или драный пакет; а дорога, конечно, окажется вся в колдобинах, или ее будут копать, или поперек растечется вонючая лужа в бензиновых радугах... Я сейчас не помню этого места и даже не помню, у какого оно было вокзала – может, у Курского, а может, у Савеловского, – но перед глазами так и стоят та изорванная газета и те ворота на цепи. Да и это, не исключено, запомнилось вовсе не с натуры, а вытянуто из какого-нибудь текста или киношки...

Итак, ворота. Скрипели они или нет – неважно. Но за ними обнаружился аккуратный двухэтажный домик, облагороженный евровагонкой, сияющий белоснежными пластиковыми рамами, и внутри этого домика тоже все оказалось сияющее и светлое, как в какой-нибудь модной парикмахерской.

Из домика Ванька вышел «ведущим специалистом» небольшой частной нефтеперерабатывающей компании.

На обратном пути, когда мы уже тряслись в метро (дороги назад я, разумеется, на радостях не запомнила), меня опять нагнала и накрыла волна абсурда. Нет, ну только подумать: ведущий специалист! По нефти!

Если бы я увидела такое у кого-нибудь в тексте, я бы ругалась – еще как! И привела бы сотню аргументов, почему эту историю читатели ни за что не примут на веру. А сейчас сама оказалась в положении авторов, которые за годы практики сколько раз клялись мне: да ведь в

жизни-то, в жизни *так оно и было!* Но я в ответ лишь замечала скептически: книга потому и не жизнь, что обязана быть внутри себя логичной и правдоподобной – и просила переделать сомнительное место.

Впрочем, уже через несколько часов мне представилась возможность оценить на практике, чем редактор отличается от адвоката. Адвокат, если бумага заполнена по всем правилам, легко принимает ее на веру и даже вопросов не задает.

Вот и наш Илья Валерьевич принял Ванькино трудоустройство как факт. Сказал только, приподняв бровь:

– Ну вы, блин, даете!

Это тоже было из фильма.

Глава 8

Сейчас, по прошествии лет, это все ужасно смешно. Такой домашний мем – как Ванька был ведущим специалистом по нефти.

«Нет, ну ты помнишь, какие у него были глаза, помнишь?» – спрашивает Андрей, подразумевая нашего Илью Валерьевича, и я подхватываю: «Кому рассказать – не поверят!» И мы веселимся.

Но тогда – тогда смешно не было. А просто очень странно. И ощущение, будто случайно обыграл уличного мошенника в наперстки. Помню, мы добрались до дома совершенно обалдевшие, принесли какой-то вафельный торт (который свекровь категорически не одобрила, потому что она у нас ЗОЖ), до вечера долго и бестолково шарахались по квартире, собираясь вместе посмотреть какое-нибудь кино на ноутбуке, да так и не выбрали какое. А наутро я не смогла встать.

Спала нормально, ничего вроде не болело, но вот проснулась по будильнику, попыталась выбраться из постели, и с удивлением поняла, что не могу. Спину заело намертво. Чертов же кретин этот невролог с его красным бельем!

До обеда Андрей с сочувствием наблюдал, как я барахтаюсь, будто черепашка, случайно опрокинувшаяся на панцирь, и решаю, звонить в поликлинику или нет. Никакого дополнительного недоброго чуда в моем состоянии не было, а как раз наоборот, все складывалось удивительно логично: вчера на радостях я имела неосторожность расслабиться – и вот. Уж это всегда.

Андрей наблюдал, водил меня в туалет и умываться (таскал на себе), приносил кофе и кашку в постель, а потом ушел и через полчаса объявился с охапкой шприцев и ампул. На мои удивленно поднятые брови он лишь заметил, что «столько лет» и «я же не идиот, все отлично помню».

– Андрюша, дорогой, а кто все это будет колоть? – поинтересовалась я.

И он отозвался, немного насмешливо:

– Ну а сама как думаешь?

Тут он уселся за письменный стол и открыл рабочий ноутбук.

Все-таки интернет – удивительное дело. Можно оперативно научиться чему угодно.

А Ванька меж тем тоже лежал – на своем любимом диване в соседней комнате. Потому что его «нефтяная» работа, разумеется, не была работой, а была лишь фиктивной записью в трудовой книжке, первой в Ванькиной жизни.

Чтобы бабушка не задавала вопросов, вокруг Ваньки навели деятельный беспорядок: набросали учебников, каких-то блокнотов, конспектов с подготовительных курсов, чтобы, случись свекрови войти, Ванька мог легко дотянуться до любой книжки и сделать вид...

Мы уже решили, как дальше врать, мол, поступал, сдал документы как положено в пять вузов, и вроде бы везде проходил по баллам (ну почти), но вот внутренний университетский экзамен по специальности – провалил с треском, для себя самого неожиданно, а сориентироваться не успели, пропустили сроки, бумаги не отвезли или отвезли не туда, а там пихнули своих – и пролет... и дальше можно было, например, ругать ЕГЭ – свекровь такие вещи хорошо понимала и в пользу нынешней реформы образования не верила.

Думаю, это у меня от профдеформации. Работа такая – сводить концы с концами, чтобы убедительно и правдоподобно. И неважно, фантастика это, реализм или даже абсурд – везде своя логика... ну то есть я так думала до всех наших событий, что везде логика... а что я буду врать, если Ваньку *посадят*? По-настоящему, в тюрьму? На следующие пять-шесть лет? Что

я тогда совру свекрови, чтобы ее не волновать и убережешь от очередного инфаркта? Может, что Ванька внезапно уехал учиться в другой город?..

Очень хотелось опять плакать. Но было нельзя: если всхлипывать, в спине сильно стреляло.

А колот Андрей неожиданно хорошо, будто всю жизнь этим занимался.

Знакомые стали звонить реже – потому ли, что было нечего сказать и нечем помочь или, может, боялись, что наша проблема волшебным образом перекинется на них... А впрочем, так было даже лучше: не представляю, каково было бы рассказывать про Ваньку направо и налево...

Я возвращаюсь в реальность и понимаю, что сейчас нахожусь в квартире одна, и, видимо, довольно давно. В кухонной раковине отмокает сковорода, отмокает тарелка. Похоже, пока я впала в ступор и пялилась в фейсбук, Андрей жарил себе яичницу.

Вокруг пусто и даже как-то гулко. Щелкают часы на стене, отмеряя время – совсем как в старые добрые времена, – но они, конечно, на батарееке. Я мою посуду, стараясь ни о чем не думать. Мету пол. Мою пол. Но навязчивые воспоминания никуда не деваются, процесс запущен. Видимо, сегодня придется прокрутить все до финала, иначе не отвязаться.

И, вытирая мокрые руки о спортивные штаны, я наконец решаюсь...

Пластиковая папка с документами по делу хранится в шкафу, в ящике с полотенцами и скатертями, на самом дне, как какая-нибудь записка. Толстая такая папка, увесистая. Я еще только открываю дверцу и вижу ее синий корешок, а у меня уже тахикардия и дышать трудно, сердце скачет как ненормальное. Да что же это такое, в самом деле?! Наша история с хеппи-эндом! И, крепко ухватившись обеими руками за корешок, зажмурившись для храбрости, я с силой дергаю папку на себя. Вместе с ней, понятное дело, из шкафа вываливается все, что было уложено поверх, и падает мне под ноги. Ну и пусть. Потом уберу. Когда-то ведь надо это сделать. Заглянуть в проклятую папку. Невозможно всю жизнь бояться глупого предмета.

И вот я иду в свою комнату, и вот я отстегиваю прикипевшую пластиковую кнопку, и вот я уже вытянула несколько бумажек наугад... Руки дрожат адски. Сейчас это принято называть красивым словом «тремор». В нем слышится что-то французское, хоть и ударение на первом слоге. В руках у меня трепещет немного пожелтевший от времени протокол заседания трудового коллектива.

Благодаря нашему спасителю-классику Илья Валерьевич еще не раз и не два скажет свое «ну вы, блин, даете!» – например, когда велит нам представить этот самый протокол заседания трудового коллектива нефтяного предприятия, где Ванька числится «ведущим специалистом».

Заседание должно быть посвящено полностью Ваньке – его трудовому и моральному облику, – и вот силами спасителя-классика нам является протокол.

Протокол как настоящий, комар носа не подточит. Согласно ему закрытое акционерное общество собирается в условленный день во главе с генеральным директором ради одной-единственной цели – взять Ваньку на поруки.

«Протокол общего собрания» – гласит шапка. Председателем – сам генеральный, всего присутствуют семь человек, все руководство компании, включая ведущего менеджера и главного бухгалтера. На повестке дня – обращение в районный суд с «ходатайством о передаче Григорьева И.А. на поруки трудовому коллективу и избрании для него наказания, не связанного с лишением свободы».

Это чрезвычайно убедительная стилизация на трех страницах мелким шрифтом, из которой представители суда должны узнать, что, по свидетельству генерального директора, «за время работы в должности ведущего специалиста Иван Андреевич Григорьев зарекомендовал себя с положительной стороны», что в работе он «внимателен, ответственен» и «ладит с кол-

легами», а также «неизменно вежлив и всегда готов помочь людям». Помимо этого Ванька, согласно протоколу, является «молодым и активным сотрудником, которых в наше время так не хватает на производстве». Проступок Ванькин – согласно протоколу – объясняется «исключительной молодостью» обвиняемого.

Главный менеджер (а в лице его сам наш классик, который тоже числится на оном предприятии и иногда выполняет для него кое-какие работы по компьютерной части) вторит генеральному директору и со всей ответственностью заявляет, что в проступке своем Иван Андреевич Григорьев искренне раскаивается.

О да, он раскаивается, еще как! Целый день лежит на своем диванчике и сверлит потолок пустым и тоскливым взглядом, словно бы выискивая там, на потолке, ответ – зачем? Зачем все это было? Ради какой такой дружбы с полужнакомым наркоманом? Ради какого спасения, какого человеколюбия? Его впервые в жизни предали, нашего Иванушку-дурачка, и, как принято писать в интернете, «его мир больше никогда не будет прежним».

По мнению главного менеджера, взятие на поруки Ивана Андреевича Григорьева выгодно прежде всего организации, в которой он трудится с недавних пор, ибо в лице его упомянутая организация получила хорошего потенциального профессионала. Главный менеджер выражает уверенность, что «никакой опасности для общества Иван Андреевич не представляет и оступился случайно».

«Оступился» – прекрасное и точное слово. От него веет советской производственной драмой конца пятидесятых – начала шестидесятых.

А что же главный бухгалтер?

Главный бухгалтер – дама (и, судя по протоколу, в годах), она сетует: «К сожалению, молодые люди часто бывают неразборчивы в знакомствах и безответственны». «Все мы видели, – говорит эта уважаемая женщина на общем собрании трудового коллектива, – как легко Иван сходится с людьми и насколько он готов прийти на помощь каждому, кто попросит».

«Думаю, он просто связался не с той компанией!» – продолжает дама-бухгалтер, и я, сейчас перечитывающая протокол, ее вижу: полноватая, чуть за пятьдесят, с немного старомодным пучком, непременно при массивных серьгах (например, жемчуг в золотой оправе или рубин), обязательно в перстнях из того же комплекта украшений, в узкой юбке до колена, белая блуза в мягких драпировках, прикрывающих зону декольте, на ногах лодочки. . . – и тут я ловлю себя на том, что все это время мысленно представляю просто собственного школьного завуча – Тамару Николаевну.

Там много чего еще говорится о Ваньке, в этом протоколе. И все хвалят нашего мальчика, все его ценят, все выражают желание продолжать сотрудничество, все надеются, что в скорейшее время он сможет начать обучение в профильном вузе и тогда в полной мере украсит собою маленькое и дружное нефтяное производство.

Но как сам виновник оценивает ситуацию? Что он имеет сказать в свое оправдание?

Это по протоколу тоже необходимо, и классик сообщает от лица Ваньки следующее:

«Я очень благодарен всем, кто сейчас выступил и кто верит, что больше я ничего подобного не совершу».

А еще Ванька обещает, что если суд примет ходатайство и даст шанс исправиться, то уважаемый коллектив ни минуты не пожалеет об ответственности, которую сейчас принимает на себя.

«Я очень постараюсь оправдать ваше доверие», – вот последняя реплика Ивана Андреевича Григорьева.

И, дочитав до этого места, я в который раз думаю: а действительно, как насчет доверия? Будет ли доверять Ванька людям и дальше? Я, уже знающая, что эта блестящая стилизация поможет ему выпутаться, опять задаюсь нашим «проклятым» вопросом. Потому что ответа до

сих пор не знаю. Иногда мне кажется, что Ванька не изменился: он по-прежнему общительный, вокруг него всегда люди, но... А впрочем, люди не стоят того, чтобы слишком им доверять, так что о потере доверия жалеть незачем. И я продолжаю чтение.

Слово берет генеральный директор. Он предлагает поставить на голосование вопрос о направлении в районный суд ходатайства относительно взятия трудовым коллективом на поруки Григорьева Ивана Андреевича.

В ходатайстве трудовой коллектив выражает готовность взять на себя «контроль и воспитательную работу в отношении сотрудника Григорьева И.А.».

Голосование – единогласно «за».

Дата, подписи, круглая печать предприятия – все настоящее.

Откладываю листочки, прихваченные степлером за уголок.

Я хорошо помню, как Илья Валерьевич просматривал их, получив, и удивленно шевелил бровями. Я тогда начала уже понемножечку вставать и передвигаться самостоятельно, потому что уколы помогли, и протокол мы с Андреем передавали адвокату вместе.

Глава 9

Дальше воспоминаний совсем мало – до самого суда. Что мы тогда делали, вся семья? Мы с Андреем работали, это понятно, а кроме? Ну невозможно же сидеть полтора месяца и не делать ничего такого, что не запомнилось бы хоть мельком!

А впрочем, уже не один год прошел, мало ли что вывалилось из памяти за ненадобностью, и, пытаюсь восстановить события, я лезу в фейсбук и в ЖЖ, изучаю конец *того* лета.

Но пусто, пусто – и в ЖЖ, и в фейсбуке. Почему? Может быть, дело в том, что можно запросто обсуждать все – кроме ожидания. Ожидание само по себе штука скверная, но когда прижал уши и днями, неделями, месяцами ждешь плохого, глушишь даже самую махонькую надежду – ведь статистика вещь упрямая, и все говорит за то, что *закроют*... Посадят в тюрьму. Нашего Ваньку, нашего единственного сына, а он хороший... он, честное слово, очень хороший, наш Ванька... это я не потому что мама, это правда – его все любят, и он любит всех (а не надо бы!). Невозможно обсуждать с посторонними свое ожидание, обсуждать ожидание беды невозможнее вдвойне, а впрочем, и с родными ожидание беды почему-то не обсуждается. Мы ведь, правда, ничего такого не делали в те полтора месяца, мы один другого даже не подбадривали и не храбрились, а только жались друг к дружке: завалимся на разложенный диван в большой комнате, и включим какие-нибудь мультики, и так лежим, и не смотрим, и не слушаем... странное было время.

Но это – когда свекровь на плановый техосмотр в больницу положили, на три недели. Тихо было в доме, и никто никому не врал.

А потом ее выписали.

С нашей Верой Николаевной – это же примерно как с соцсетями. Держи лицо, делай вид, что все пучком, улыбайся и не жалуйся, ни о чем не спрашивай, если не хочешь быть завален бесполезными, бурно эмоциональными ответами и советами, неприменимыми на практике, пости котика, рисуй смайл, жми большой палец – не открывайся. Главное, не задавай никому вопроса «что делать?», это дохлый номер, к тому же годами литературной практики доказано, что ответа не существует в природе, спросить об этом значило бы подставиться. Вот почему нет постов ни в фейсбуке, ни в ЖЖ: еще ничего не кончилось, жизнь поставили на паузу, а будущее таково, что хоть бы эта пауза длилась, и длилась, и длилась... тоже не жизнь, конечно, но и не приговор.

Вера Николаевна, вернувшаяся из больницы, парадоксальным образом оказалась самой несчастной в доме. Потому что Ванька *не поступил в университет*.

– Как же так можно было, а?! – причитала она, шаркая по квартире с маленькой китайской чашечкой корвалоловых капель в трясущейся руке. – Это просто уму непостижимо! Ванечка, ну ты же умный мальчик! Ты почти отличник!

Ванька напугал на себя виноватый вид и только руками разводил.

– Это все твои дачи! – не унималась бабушка. – Вот не ездил бы на дачи, а готовился бы к экзаменам получше, вот бы и поступил бы!

– Бабуль, сейчас нету экзаменов, ЕГЭ сейчас! – объяснял Ванька авторитетно. – Сколько в школе получил, столько и посчитают при поступлении.

– Ну а что? А ЕГЭ тебе не экзамены?! – не соглашалась Вера Николаевна.

А я все думала: где мы, а где ЕГЭ... Вот бы здорово, думала я, трястись сейчас в ожидании результатов за физику и русский. Как в июне. Хорошая была жизнь! А Андрей возражал: ты бы себя видела, пока тех результатов ждала! Сейчас ты куда спокойнее. И ведь он был прав: я действительно стала куда спокойнее, по крайней мере внешне. Парадокс, опять парадокс.

Родительское равнодушие к будущему мальчика отдельным пунктом сердило Веру Николаевну. Потому что *армия!* Теперь мальчика заберут в *армию!* Но у нас и тут был придуман логичный ответ, который даже и не вранье: при минус восьми да с отслоением сетчатки никакая армия Ваньке с самого начала не грозила. («Лучше бы армия, – думала я. – Уж лучше бы армия...»)

– Так и что же, давайте теперь неучами жить?! – восклицала свекровь. – Давайте все в дворники пойдем, раз ни страху, ни совести!

– Я бы в дворники пошел – пусть меня научат! – отзывался Ванька.

Бабушка поджимала губы и зло сопела.

– Ну мам, ну в самом деле, – вклинивался Андрей, пытаюсь сгладить разговор, – чем тебе дворники плохи? Дворники, между прочим, доброе дело делают, чистоту на улицах поддерживают. – Но не выдерживал тона и непременно добавлял: – Не то что многие высоко-высоко поставленные лица!

Трясаясь от злости и обиды, бабушка скрывалась в своей комнате и хлопала дверью, где еще долго причитала и всхлипывала о том, что «молодежь пошла». А потом, успокоившись немного, она выходила и торжественно произносила, ни к кому конкретно вроде бы не обращаясь:

– Ну и шел бы дворником, раз так! А то что же дома штаны просиживает, здоровый лоб? Не хочет учиться, уж пусть тогда поработает! – и опять скрывалась в своей комнате.

А он бы и поработал, Ванька. Даже дворником, почему нет, он всегда радовался физической работе. Вот только даже в дворники путь ему был заказан. Сиди, молодой дурак, жди беды. Не верь людям. Ты ведь помочь хотел? Вот, допомогался... Теперь все мы с тобою во главе движемся дорогой, вымощенной благими намерениями.

А самым счастливым в доме (парадокс, опять парадокс!) в то время был – Ванька...

Я слишком туго замотана в свой кокон, я слишком внутри него затаилась в ожидании беды – и не сразу замечаю, что Юля и Марина больше не прибегают парой, не являются в шумной компании одноклассников, а заходят строго поодиночке.

В какой-то момент Марина исчезает, остается одна Юля – да и та на себя не похожа. Она вдруг делается молчаливой и краснеет при моем появлении («удушливой волной» краснеет, отмечает внутренний редактор, отыскав приличествующую случаю цитату). Они с Ванькой обычно сидят в большой комнате на диване, каждый на своем краю, и смущенно молчат. То есть разговаривают, конечно, но разговор продвигается медленно и трудно, будто они подбирают рифму к слову «пакля» или к слову «выборы». Оба надолго задумываются и замолкают. Юля крепко прижимает к животу подушку-думку. Это подушка-кот. У нее голова и лапки. И хвост. Девчонки как увидят, немедленно обнимают этого «котика». Да я и сама его обнимаю, обнять котика, живой он или хоть подушка, – это из области рефлексов.

Свекровь, когда приходит Юля и сидит с Ванькой на диване, напускает на себя надменный и разочарованный вид «а-что-я-вам-говорила». В комнату к Ваньке она, конечно, не заходит продемонстрировать это свое выражение лица, но уж на нас с Андреем отыгрывается по полной. «Все от родителей!» – как бы читается в ее строгом взгляде.

По собственным рассказам свекрови, ее в детстве «пороли как сидорову козу», и только этим проверенным способом вырастили нормального человека.

«Учился бы, чем о девочках думать!» – бормочет она себе под нос, когда семья сходится за едой, и Ванька тянет: «Ну ба-а! Ну не начина-ай!» А я прикидываю, как было бы здорово, если бы Ванька думал больше о девочках, чем о друзьях... Вот было бы у него в тот вечер свидание с той же Юлей – и сейчас мы бы наверняка праздновали поступление в университет... в общем, мечты-мечты, а Вере-то Николаевне все равно ничего не объяснишь.

В следующий момент, который я тоже не успеваю отследить, Юля вдруг пропадает и появляется Марина. Марины много. Каждый день. Она хохочет и тараторит. Когда она материализуется в дверях, руки у нее вечно заняты какими-то печеньками или яблоками. «Всегда, как утро, весела», – подсказывает внутренний редактор услужливо. Спасибо, внутренний редактор! У меня уже которую неделю в голове – ни одной самостоятельной мысли, а только тихий ужас да цитаты из классики.

Марина щебечет и бежит ко мне на кухню помогать, если я готовлю. Она умеет делать розу из помидорки – вот, смотрите.

Марина взахлеб рассказывает Андрею про какой-то свой турнир по шахматам, на котором в марте заняла второе место.

Марина пытается щебетать даже с бабушкой (дохлый номер, та при виде Марины стремительно и гордо удаляется в свою комнату и там включает телевизор погромче).

Они с Ванькой тоже сидят на диване, но не как с Юлей, а кидаются друг в друга несчастным «котом» и хохочут как ненормальные.

«Хорошая девчонка, – шепчет мне Андрей. – Веселая».

«Деф-ф-фьки пошли!» – шипит свекровь, подчеркивая мягкое «эф». Она длит его и длит, аж слюна брызжет. Иногда мне кажется, что Вера Николаевна родилась сразу старой, со своей хронической аритмией, давлением, варикозом и артритом, не оставляющими места радости. Стоит ли говорить, что она искренне уверена: если бы не «дефьки», наш мальчик сейчас готовился бы к первому семестру.

Проходит еще несколько дней, и Ванька с Мариной начинают надолго исчезать по вечерам, и я только тогда припоминаю, что всю предыдущую неделю погода была довольно поганая, ветер и грозы, а теперь – солнышко и даже вечером почти плюс тридцать.

И вот однажды на закате мы с Андреем сидим за столом в кухне, что-то такое жуем за чаем и листаем каждый свой смартфончик, и тут вдруг в руках у Андрея тренькает эсэмэска.

Он читает, и брови его изумленно ползут вверх.

За короткий миг, пока они ползут, а в глазах обозначается все большее удивление, я успеваю подумать обо всем самом худшем, что может случиться с Ванькой, которого сейчас нет дома. Арест, несчастный случай, авария, драка и разбойное нападение рядом выстраиваются в голове, сводит плечи, бухает за грудиной и все вот это.

– Что?.. – шепчу я испуганно одними губами.

Муж разворачивает ко мне сияющий экранчик.

Буквы прыгают перед глазами, но я все-таки заставляю себя прочитать...

Это сообщение от Ваньки. Восторженное, с тремя восклицательными знаками.

«Папа, я стал мужчиной!!!»

Мы с мужем смотрим друг на друга – и начинаем хохотать. Так долго и так громко, что к нам выходит из своего логова свекровь и, стоя в дверном проеме, выразительно крутит пальцем у виска.

Глава 10

Судебных заседаний по нашему делу было еще три, с разницей в несколько дней, но для меня все они слились в один – длинный и бесконечный, я и тут не поручусь, что и когда происходило. Память включается какими-то пятнами, выхватывая отдельные сцены. Наверное, это нормально. Наверное, именно так и работает человеческая голова.

Начало. Узкий темный коридор и толпа народу в нем, казенные двери в ряд и зудящие квадраты света на потолке, шелест папок, бубнение и шарканье, Ванька сидит между нами, в белой футболке с коротким рукавом, и по коже у него крупные мурашки, хоть он и старается изо всех сил принять беззаботный вид. Потом в коридоре невесть откуда появляются Саша и Марина. Ванька вскакивает, краснеет. Марина, боязливо косясь на нас с Андреем, встает на цыпочки и обнимает Ваньку за шею обеими руками, прижимается тесно, – и от этого еще более заметно, какая она хрупкая, совсем девочка. Пышная юбочка чуть выше колен, на широком поясе, подчеркивает осиную талию. Кедки, белые носочки. На топике, конечно, котик. Ванька держит Марину бережно, уткнувшись ей носом куда-то в ключицу, ему для этого приходится как следует нагнуться... Вид у них с Ванькой патологически романтичный, словно их нарисовали японские мультипликаторы. Но в японском мультфильме их бы обязательно поставили куда-нибудь на холм, с которого вид на город, и волосы их развевались бы на ветру, а над головами плыла бы нежная японская песня. Словом, смотреть на них совершенно невыносимо, на всю эту первую романтику, и я лезу в сумочку в поисках чего-нибудь, все равно чего. Саша здороваается с нами и скромно подпирает стену напротив, водит пальцем по экрану большого плоского айфона. Саша – лучший друг Ваньки, еще с первого класса. После девятого он ушел в колледж, в какое-то очень престижное заведение для будущих программистов с конкурсом чуть не двадцать человек на место, и после окончания попадет прямиком на третий курс... куда?... я не помню; тоже что-то очень престижное. Саша хороший парень, он всегда был мне симпатичен. Спокойный, целеустремленный. Это не наш Иванушка-дурачок, желающий всем понравиться. Саша, кажется, даже в начальной школе был вполне самодостаточен.

«С Сашей ничего подобного не случилось бы», – думаю я с горечью. В горле ком. Почему с нами? Ну почему?! Думать об этом нельзя. Нипочему. А справедливости, как известно, не существует. Скорее бы уже, скорее... Саша, высокий и худенький, скромно стоит у стены, в ладненьких узких джинсах и летней пестрой рубашке, приталенной и тщательно отглаженной, в узких желтых туфлях, но инфантильным хипстером он не кажется, а наоборот, выглядит старше своих лет.

Время тащится еле-еле, заседание задерживается на пять, на десять, на пятнадцать минут, наконец за дверью происходит какое-то шевеление, вываливаются галдящие, взвинченные люди – и вот нас приглашают в зал.

Помещение оказывается совсем небольшим. Оно ни капли не похоже на просторные залы из американских блокбастеров. Это просто казенная комната с плохо вымытыми окнами и не очень высокими потолками, в ней метров, может быть, сорок; вся мебель тут из дешевого светлого ДСП, стулья – из нескольких разных наборов, вдоль одной стены тянется какая-то будка не будка... внутри нее темно, и она, похоже, сейчас закрыта.

За двумя сдвинутыми письменными столами в центре комнаты краснощекий мальчик, очень забавный, сосредоточенно раскладывает бумажки (он потом окажется прокурором), нам указывают место, куда сесть, и мы садимся рядом: сперва Андрей, потом я, потом Марина и Саша, а Илья Валерьевич и Ванька сразу отправляются к сдвинутым столам и помещаются напротив смешного мальчика. Ванька садится и с любопытством вертит головой, Илья Валерьевич открывает портфель и тоже начинает раскладывать бумажки.

Некоторое время ничего не происходит. Но вот раздается дежурное: «Встать, суд идет», и из боковой двери, которую я поначалу не заметила, выходят две молодые женщины. Или их три? А впрочем, какая разница, дело не в них, а в будничности происходящего, в ощущении механистичности и рутины... вот мы, вот наш ребенок, вот вся его будущая жизнь, а вот скучающие люди вокруг и их обычный рабочий день, один из многих примерно одинаковых рабочих дней... это мне и странно, и страшно.

Вошедшие возьмется несколько минут, рассаживаясь и устраиваясь, говорят положенные вводные слова и наконец приглашают в зал свидетелей со стороны обвинения.

Огромный холодный ком застревает за грудиной, перекрывая кислород. Ну конечно! Сейчас мы его увидим, Димыча! Он и есть главный свидетель по делу!

Но додумать я не успеваю. В зале материализуется странная личность лет тридцати пяти, с одутловатым испитым лицом, болезненно худая, в обвисшей футболке с такими длинными растянутыми рукавами, что они полностью закрывают ладони, – сомнительная личность в выцветшей бейсболке козырьком назад.

– Головной уборчик снимите! – говорит помощница судьи чуть раздраженно, и личность суетливо стягивает бейсболку, начинает комкать в руках.

Сознание подвисает. Это что, вот это – *Димыч? Друг нашего Ваньки?!*

Но нет. Разумеется, нет. Когда к личности обращаются с вопросами, ее называют то ли Колей, то ли Костей.

– Он не придет... – шепчет мне на ухо Андрей, и я сразу понимаю, о ком речь, но легче от этого не становится.

Личность что-то бормочет, путаясь в словах, и дело даже не в том, что все они неправда от первого до последнего, а просто личности в принципе тяжело пользоваться словами родного языка и собирать их в предложения. К тому же личность зависает надолго в тех местах, где для связки положен небезызвестный артикль, неприемлемый для судебных заседаний.

Через некоторое время личность перестают мучить и разрешают вернуться на место. И личность делает несколько уверенных шагов в сторону огороженной будки, запертой и темной, в которую на суде сажают особо опасных (интересно, как она называется, эта будка? тоже обезьянник? Я пытаюсь сосредоточиться и вспомнить, но в голову ничего не приходит, кроме «скамьи подсудимых»).

– Гражданин, куда вы?! – строго спрашивают со стороны судей.

Личность спохватывается, суетится, потеряв ориентир, и потоптавшись на месте, отправляется в свой угол.

– Чистый Хармс! – шепчет мне на ухо Андрей.

А по мне, это никакой не Хармс, а, скорее, Платонов. Нелепо и жутковато.

Ванька сидит понурый по правую руку от Ильи Валерьевича, который что-то горячо сейчас говорит, обращаясь к суду, и речь его течет ровно, но смысл слов уплывает, я оборачиваюсь к Марине и Саше, и бедный мой мозг в очередной раз отказывается принимать информацию, которую транслируют внутрь него глаза.

Рядом с Сашей сидит молодой человек в форме. (Когда, откуда он взялся? Почему я его раньше не заметила?!) «Пристав», – услужливо всплывает на поверхность подобающее слово. Пристав и Саша тихо перешептываются, отвлекшись от происходящего в зале, я слышу странные какие-то вещи, какую-то «тетя Люсю», какую-то «дачу», «девятку» и «огород», и даже очень невнимательный человек заметил бы, насколько Саша и этот пристав похожи друг на друга. Лицом, комплекцией... Но я не успеваю додумать мысль, что, наверное, именно так люди и сходят с ума. Марина шепчет мне на ухо:

– Это Ромка, не бойтесь! Сашин брат!

«Господи, какой еще брат?! У Саши нет никакого брата!» – проносится мысль.

– Двоюродный, – шепчет Марина, точно услышала. – Я даже не знала, что он тут работает, прикиньте? Мы, пока Саша в колледж не перешел, все в одной компании тусили.

Я тарашусь на Марину. Марина смущается, бормочет:

– Ой, простите. В смысле, общались... ходили... ну, гуляли в смысле...

Она на полном серьезе уверена, будто я стану ругаться на неуставной сленговый глагол. Даже краснеет слегка. Ванька поднимается с места, чтобы ответить на какие-то заданные ему вопросы; нить повествования, суть происходящего – все это теряется окончательно, это какой-то бред, и надо бы ущипнуть себя хорошенько, чтобы проснуться, но я не могу.

Все что-то говорят: Андрей, Саша, Илья Валерьевич, взволнованная Марина, вдохновенная и своей новой влюбленностью, и своей миссией (ни дать ни взять жена декабриста), и я что-то говорю, когда меня вызывают, – все мы здесь свидетели, нам надо доказать судье, что Ванька – хороший, что все это – нелепая и страшная случайность; я не помню, что говорю о сыне, больше всего хочется лечь и укрыться с головой одеялом. Илья Валерьевич зачитывает характеристики: из школы, из велоклуба, Ванька смущенно озирается, поправляя очки на носу, тоже что-то сбивчиво объясняет, когда ему задают уточняющие вопросы, и в какой-то момент я отчетливо слышу Ванькино: «Я больше так не буду!» А в нескольких метрах от нас прозябает команда противника, в составе единственного человека в бейсболке, и человеку этому явно очень неуютно... «По-моему, он привык быть по другую сторону баррикад», – шепчет Андрей, судья смотрит на нас изучающе и в беспристрастном лице ее прочитывается недоумение. «Кто тут, черт побери, подсудимый?!» – как бы написано у нее на лице; наверное, мы и в самом деле выглядим странно: хрестоматийная «хорошая семья», «красивая пара» лопоухих интеллигентов (мы с Андреем), и любимая девушка подсудимого (Марина), и Саша-брат-пристава; человек в бейсболке отлично оттеняет Ванькино глупое щенячество и наше тихое офигение от происходящего, все это – плохой текст, просто плохой текст, выдуманный неумелым автором, который не определился, чего хотел, комедии или трагедии, а в итоге получил нагромождение и полный бред.

Мы потом обсуждали с Андреем. Не сразу, уже через несколько месяцев после суда, для кого что было самое страшное. Что запомнилось лучше всего. И оказалось, Андрей почти не запомнил чудика в бейсболке, про чьи длинные рукава сам первый объяснял, что такие в жару носят одни наркоты, прячут вены; а я зато не помнила момента в день последнего заседания, уже перед объявлением приговора, минут за пять буквально, когда за дверями в коридоре что-то вдруг загремело и в зал заглянул человек в форме и с оружием, обвел всех внимательно глазами и исчез. Потому что, оказывается, Андрей в последний день, увидев, что у нас даже пристава нет, которого в зал для охраны порядка всегда сажают, заранее обрадовался, будто Ваньку отпустят, а когда этот, в форме, вдруг заглянул, то сразу стало ясно: он специально вызван Ваньку *уводить*, и тогда сделалось по-настоящему страшно. Надо же... А я совершенно этого не помню...

Все-таки странная штука память. Например, Марина. На первом заседании она точно была, на последнем – точно ее не было. А на том, которое между? И вообще, что все мы делали на том заседании, которое между? Впрочем, какая теперь разница...

Сильно же выбил меня из колеи пост новосибирской подруги! В четверть пятого я нахожу себя в спальне с синей пластиковой папкой на коленях. Папка довольно пухлая, внутри много всякого. Вот, например, Ванькина грамота «за активное участие в совете школы и организации коллективных творческих дел». А вот соглашение с адвокатом, еще на предварительное следствие, мы тогда не знали Илью Валерьевича и понятия не имели, чего от него ждать, а он не то что никаких левых денег не взял за все время общения, но даже и цену не заломил, обошелся нам в сумму средней зарплаты по Москве (не той, про которую регионалы думают, что у нас такая средняя, а настоящей, которая ниже примерно втрое). Мы до сих пор дружим семьями, у

него отличные две девчонки-студентки... Вот серая, маленькая и помятая бумажка – справка из наркодиспансера, что Ванька не состоит у них на учете. А следом запрос от Ильи Валерьевича главному врачу районной больницы, где Ваньке прижигали отслоившуюся сетчатку, еще до всей этой истории... «В соответствии со статьей 6 пункта 1 части 3 Федерального Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ" прошу Вас сообщить, с каким заболеванием наблюдается Григорьев Иван Андреевич, проживающий по адресу... Ответ прошу выдать предъявителю запроса»; круглая печать, подпись. Тут же копия протокола общего собрания от нефтяной конторы, принявшей Ваньку под крыло, – и я до сих пор боюсь представить, что бы с нами было, если бы не они, дай им Бог здоровья. Еще справка, за подписью начальника филиала ФКУ УНИ УФСИН (и мне даже не любопытно, как все это расшифровывается), выданная гр. Григорьеву Ивану Андреевичу, родившемуся тогда-то и зарегистрированному там-то, фактически проживающему по такому-то адресу, осужденному такого-то числа таким-то судом по ст. ст. 30 ч. 3, 228-1 ч. 2 п. «б» УК УК РФ – *условно, с испытательным сроком 5 (пять) лет...* Ну и, конечно, самая важная наша бумажка, половинка листа А4 десятым кеглем, – «Памятка условно осужденному с испытательным сроком». В ней всего шесть пунктов, соблюдать которые не очень сложно. Просто Ваньке нужно приходиться раз в месяц отмечаться по определенным дням... Большая мутная волна прошла над нами – и почему-то не смыла. Оказывается, так тоже бывает.

Я складываю все эти бумажки аккуратной стопочкой и прячу обратно в папку. Там еще много всякого, но я больше не хочу листать.

Срочная работа, которую я собиралась сделать еще утром, так и не начата и едва ли будет начата раньше ночи. На тумбочке столпилось пять больших грязных чашек из-под кофе. Я звоню Ваньке и на всякий случай спрашиваю, отметился ли он в этом месяце.

– Мам, ну че я, дебил совсем, не понимаю?! – восклицает Ванька с обидой в голосе. – На той неделе спрашивала уже!

Ему кажется, что я ему до сих пор не доверяю, хотя истории той уже четыре года, даже немного больше, и отмечаться Ваньке осталось не так уж долго. Потом судимость должны снять, но я боюсь загадывать: достаточно со стороны Ваньки крошечного прокола, и его могут закрыть. На форумах пишут всякие ужасы, что «условникам» с такой статьей даже дорогу в непопозволенном месте лучше не переходить, не то что там что-то. Пугают, наверное, а может, так и есть. Но для меня главное, чтобы Ванька не рискнул попробовать. Все время с момента суда мы с Андреем чувствуем себя как на пороховой бочке и до сих пор потихоньку друг от друга считаем месяцы до окончания условного срока.

Конечно, мы подавали на досрочное, как Илья Валерьевич научил, но не вышло. Наоборот, наблюдали прокурора с перекошенным лицом, на котором как бы читалось крупным шрифтом «НУ ВЫ НАГЛЫЕ!» Он так и выразился открытым текстом на этом слушании: радуйтесь, мол, что легко отделались, по-хорошему ваш мальчик сейчас должен быть на зоне. Меня потом до ночи Андрей корвалолом отпаивал, и спину опять заело. А этому, с перекошенным лицом, ему плевать было, что Ваньку подставили и он правда не виноват. Пойман за руку – и до свидания.

Свекровь похоронили полтора года назад. Она так никогда и не узнала, что ее любимый единственный внук – официально уголовник. Но зато успела порадоваться, когда на следующий год Ванька без труда поступил – осужденным это можно – в университет на философский. (А хотел сначала на юриста. Это у нас теперь тоже домашний мем – как правильно на философский лад настроиться. Ну да ладно. Плохой смех.) Прошло больше двух лет, прежде чем сын, краснея и пряча глаза, рассказал нам с Андреем подробно, что же произошло тем вечером. Как позвонил этот самый Димыч и как Ванька сначала отказался, потому что он ведь ничего не знал: где, когда, за сколько... он отказался, но Димыч позвонил снова и снова – даже не друг, а так, не очень близкий приятель, и сказал, что умирает, и продиктовал адреса. И

как потом Ванька метался по району на велосипеде, сначала в поисках денег, потому что это стоило дорого и у него столько не было, потом к какому-то непонятному человеку, который дожидался на остановке около метро – и это немного напоминало фильм про шпионов, – и как радовался, когда ближе к двенадцати часам прошел это хитрый квест, потому что Димыч... у него был такой голос, будто он действительно умирает, и не мог же Ванька вот так его бросить в беде... И как он довольный подкатил к своему подъезду, где договорился встретиться с несчастным умирающим, а тот привел за собой облаву...

Ванька, когда возвращается из университета, все больше в «танчики» режется в своей комнате. Подработку хорошую нашел, удаленную, как раз для студентов, и, понятное дело, хотел квартиру снять, а я не смогла его отпустить, уломала подождать до окончания срока. Я понимаю, что неправа и ничем он моего недоверия не заслужил, а вот не могу, и все. Кажется, я вообще теперь всего боюсь, после истории этой, и особенно людей.

Кстати, Марина Ваньку очень быстро бросила. Романтика романтикой, но, когда Ванька получил пусть условную, однако самую настоящую судимость, папа с мамой устроили Марине жуткий скандал: она ведь девочка из приличной семьи, как ей с таким водиться. А она не сильно и сопротивлялась. Ваньке я этого, конечно, не скажу, но, по-моему, ей после суда и всего связанного с ним ажиотажа просто перестало быть интересно.

Мелькнула шальная мысль, не написать ли обо всем этом в фейсбуке. Так-то если посмотреть – поучительная история. Но в который раз получалось: нет, не написать. Даже тогда, по горячим следам, никаких постов не было. Я так и не нашла слов, чтобы рассказать все это, и вряд ли найду.

Получается, вся надежда на знакомого классика. Может быть, когда-нибудь он все-таки возьмется за нашу историю. Если, конечно, на фоне всех наших войн и революций она не покажется ему слишком мелкой.

К тому же русские классики не очень любят хеппи-энды.

Без труб и барабанов (роман)

Начинающий писатель не может придумать название для своего романа и приходит к опытному за советом.

– В твоём романе трубы есть? – спрашивает опытный писатель.

– Нет.

– А барабаны?

– Тоже нет.

– Чего проще. Назови «Без труб и барабанов».

Бородатый литературный анекдот

Часть 1. Немного мела и чернил

Телефон звонил и звонил. Звук был тихий, почти невесомый, но очень назойливый. Он ввинтился в сон и стал разрушать его изнутри, заражая тревогой и неуютом. Стало холодно. Рука затекла, болели суставы, особенно плечо. И опять напала невралгия, будь неладна, так что не повернуть головы. «Старость не радость», – подумала Ольга. Подумала весело, без отчаяния, – но глаз не открыла.

Сначала пыталась перетерпеть назойливый звук, однако звонивший оказался терпеливей, и вот она уже села в кровати, откинула одеяло и поежилась. По-прежнему не разлепляя глаз, пошарила на тумбочке и отыскала мобильник. На ощупь нажала кнопку, поднесла к уху и наконец-то поняла, что звук идет с первого этажа. И только тогда открыла глаза. Звук оборвался. Экранчик мобильного показывал семь ноль восемь.

В окна лилось яркое весеннее солнце, подсвечивая листья бегонии на подоконнике, и было видно, какие они пыльные. Зато на этот год бегония наконец-то выдала пару бледных желтых бутонов. Ольга опять зажмурилась и попыталась лечь поудобнее – так, чтобы не беспокоить больную шею. Не тут-то было. Где-то внизу зазвонило с новой силой.

– Мартин! – громко позвала Ольга. – Мартин!

Никто не ответил. Пришлось все-таки вставать.

Ольга накинула халат, сунула ноги в тапочки. Как всегда по утрам, первые шаги были тяжелы, боль поднималась от икры к колену и отдавала в поясницу. Телефон внизу снова замолчал, но лечь уже не было смысла. Надо было разогнуться – вот так, потихонечку, помассировать спину непослушными руками, немножко расправить плечи и все-таки попытаться повернуть голову, иначе весь день проходишь скособоченной. Ольга опять усмехнулась про себя и с трудом сделала несколько наклонов вперед и вбок. Между лопатками ощутимо хрустнуло, и боль в шее отпустила. Так-то лучше!

Снизу снова послышался назойливый звук. Ну что ты будешь делать!

На городской телефон никто не звонил уже лет сто, и помимо воли Ольга начала беспокоиться. От свербящего звука дом казался еще более пустым и гулким, чем обычно. Даже кошки запропастились куда-то и не показывались. И где, интересно, Мартин? В такую рань?

Одиночество вдруг накатило, накрыло с головой, еще более жестокое от теплого солнца, бьющего в окна, от молчаливого порядка, в котором находились все предметы в доме. Телефон звонил и звонил, и чем ближе подходила Ольга, тем надсаднее был звук, как будто звенело внутри головы, а не снаружи.

– Мартин! – опять позвала она, заглядывая в спальню мужа. И опять не услышала ответа.

Кровать была аккуратно заправлена, ни морщинки. На тумбочке двумя ровными стопками лежали журналы – отдельно автомобильные, отдельно научные. Между стопками помещался кожаный очечник – и можно было не сомневаться, что очки находятся именно внутри, а не валяются где-нибудь в доме. Звук не прекращался. Ольга аккуратно прикрыла за собой дверь и стала медленно спускаться, вцепившись в перила – лестница была крутовата. Раньше она не замечала этого и легко порхала вверх-вниз, целыми днями, из спальни в кухню, из кухни в детскую, из детской в гостиную, а теперь вот хватается что есть силы, словно находится не дома, а на корабельном трапе в открытом море. Ольга не помнила точно, когда это началось. Года полтора назад, может быть, два. В первый раз она списала на давление, на усталость, потом привыкла. Стала даже шутить по этому поводу, командуя неловким ногам: «Левой-правой, левой-правой!» – Мартин никогда не одобрял этих шуточек. Но сейчас она просто шла вниз, молча, и оттого, что торопилась, еще острее ощущала, как медленно движется.

Ей было не по себе. Уже не просто тревожно, а немного страшно. Поэтому, добравшись до места, трубку сразу не подняла, а еще некоторое время примерялась к ней, будто решала, как ловчее взять, чтобы разом утихомирить, не выпустить из дрожащих рук.

Голос в трубке она узнала сразу. Хотя слышала его в последний раз... Когда? Она уже не помнила. Таня в прошлый раз звонила ей, дай бог памяти... к чему обманывать себя, Таня никогда ей не звонила. И не писала. Ни единого разочка за прошедшие сорок лет. И даже когда умер папа, Ольга узнала об этом через третьи руки, случайно – и так поздно, что не успела не только на похороны, но и на сороковины.

– Могу я услышать Ольгу Александровну? – строго спросила трубка. И невольно вместо «здравствуй» Ольга пролепетала испуганно:

– Танечка, что случилось?

1

Тане выбрали имя без всякого литературного умысла. Она была названа в честь бабушки по папиной линии. И спустя три года, решившись на второго, родители ждали, конечно, мальчика. Но родилась снова девочка. В досаде ли, или просто было у папы такое чувство юмора, но, едва узнав в роддоме эту новость, он тут же предложил младшую дочку назвать Ольгой, чтобы вышло в честь знаменитых пушкинских сестер. Он сказал это не всерьез, но жене мысль неожиданно понравилась. Ей казалось, это выйдет интеллигентно и оригинально. И младшенькую назвали, действительно, Олей.

С тех пор родители, сами того не сознавая, стали искать в дочерях соответствия литературным образам. Таня была темненькая, а Оля – светлая шатенка. И это было правильно. Таня не очень любила играть в подвижные игры и не ладила с ребятами во дворе, а Оля вечно носилась как угорелая, и, где бы ни оказалась, если в радиусе ста метров находился хотя бы один ребенок, немедленно начинала с ним дружить. И это было правильно. Таня часто плакала, а Оля была хохотушка. И это было тоже правильно. Но чем старше становились сестры, тем меньше оставалось от навязанного книжного сходства. Таня, и это стало очевидно уже годам к двенадцати-тринадцати, обещала вырасти в замечательную красавицу. Она была куда ярче и привлекательнее Оли – выше и стройнее, и кожа ее была светлей, и волос гуще, и голос звонче, и четче капризный изгиб верхней губы. А хохотушка Оля, которой вроде суждено было стать недалекой и ветреной, с первого класса проявила неожиданную усидчивость и искренний интерес к учебе. Впрочем, учились сестры обе на «отлично».

Таня, что называется, «корпела». Потому что так было *надо*. Тетрадки ее возили в районо как образец прилежания, выставляли на школьном стенде напротив раздевалки; учительница русского языка любила в воспитательных целях потрясать ими перед носом наиболее нерадивых. Тетрадки и правда впечатляли. Четкие и крупные округлые буквы крепко держались друг

за дружку, все с одинаковым наклоном, идеально выверенной толщины – и не то чтобы кляксы, помарочки ни одной не было (а случись такая беда, Таня готова была вырвать страницу, даже переписать тетрадь с самого начала, чтобы исправить изъян). Оля училась легко и весело, будто играла в увлекательную и очень простую игру. Тетрадки по арифметике, а позже по алгебре и геометрии были у нее вечно исчерканы как попало, и по многочисленным исправлениям легко было понять, откуда и куда идет ее математическая мысль; торопливые буквы немножко приплясывали, а почерк менялся в зависимости от того, с кем Оля оказывалась за одной партой. Но учителя ей прощали. Потому что у Оли была «золотая голова». И не только в математике. Математика что? То ли дело литература и немецкий! А ботаника? А рисование?!

Обе сестры были ярыми общественницами.

Таню, начиная с четвертого класса, непременно выбирали председателем совета отряда, а когда она вступила в комсомол, то очень быстро дослужилась до комсорга школы. Ее возили из Военграда в районный центр, в горком ВЛКСМ, по всяким общественным делам, и она, бывало, оказывалась в президиуме, среди старших, уже окончивших школу и получивших разные важные для страны специальности. В такие дни Таня бывала горда собой. Общественная работа и отличная, пусть трудная, учеба давали ей ощущение внутренней правоты. А для нее это было важно как ничто другое. Она всегда была искренне уверена, что жить нужно правильно. Как героини-молодогвардейцы. Как Гагарин. Как Ленин, когда он был маленьким. И если каждый – каждый! – станет правильно жить, тогда и наступит всеобщее счастье.

Оля о всеобщем счастье, конечно, тоже думала (а кто тогда не думал?), но не так масштабно. И общественная работа была для нее такой же игрой, как все остальное. Потому, наверное, была не председатель и не командир, а бессменная «редколлегия», рисующая плакаты и сочиняющая стихи к праздникам.

Так и жили. Между собой не ссорились. С родителями ладили. Обыкновенная советская счастливая семья. Папа служил мастером на заводе «Красный путь», мама там же работала в поликлинике, бабушка, пока была жива, заведовала библиотекой. На «Красном пути» трудился почитай весь Военград. И школа, где учились девочки, была как бы при заводе, и детский сад, и ясли, и небольшая местная больничка, и кинотеатр, и клуб, и даже почта. Производство было, разумеется, секретное. И, разумеется, весь Военград прекрасно знал, что «Красный путь» выпускает танки.

Таня сразу для себя решила, что учиться пойдет в технический вуз. Это тоже было правильно. Заводу необходимы хорошие специалисты. Чтобы стать по-настоящему хорошим специалистом, нужно ехать учиться в столицу. И после школы Таня, конечно, поступила. И, конечно, после института стала кем планировала.

Оля про столицу как-то не думала, а работать ей хотелось всеми сразу: медсестрой, как мама, и мастером, как папа, и инженером, как Таня, и библиотекарем, как бабушка. И художницей. И космонавтом. И переводчицей. И актрисой. И кондитером. И продавщицей газировки у кинотеатра. И кассиром. И певицей. И строителем. И проводником. Все работы хороши – выбирай на вкус.

Можно бы сказать, что младшая сестра любила жизнь, а старшая – порядок, – но это было бы слишком просто, а значит, неверно. В том, как жила категоричная Таня, не было никакой показухи, а лишь наивная искренность и желание осчастливить целый мир, – ведь тогда патриотизм и энтузиазм не считались чем-то неприличным. И не из желания очутиться в столице, среди блеска и развлечений, две провинциалки, дочери медсестры и заводского мастера, учились на «отлично» и стремились за высшим образованием. Хотели учиться и учились – потому что это было престижно и почетно. Потому что им было любопытно. Наверное, в нынешние времена они бы с не меньшим рвением шили плюшевых зайцев для выставки хенд-мейда, фотографировали котиков, чатились в соцсетях, сидели бы на низкокалорийной диете и рас-

ставляли мебель по фэншуй – потому что они были самые обыкновенные и жили «как все», не находя в этом ничего предосудительного. Вовсе не было в их жизни безудержного рвения, как в литературе и кинематографе того периода, ведь в искусстве всегда и всего сверх меры, а реальность отеночна, и все самые острые углы, самые непримиримые конфликты в ней смягчены – не поймешь, где правда, где ложь, не поймешь даже, существуют ли правда и ложь на самом деле, так прочно одно вплетается в другое. Словом, жили как жилось. Не «за идею» и не «против течения» – просто жили.

Они занимали на двоих десятиметровую комнату с окном во двор, вечно занавешенным елью напротив, а потому довольно сумрачную. Кровати стояли по стеночке, сходясь изголовьями, и, засыпая, можно было секретничать и делиться новостями. Таня относилась к младшей сестре немного свысока. Не потому, что у Тани был плохой характер или Оля давала повод, – просто по праву старшинства. А Оля, по праву младшей, всегда тянулась к Тане и все-все ей прощала.

Конечно, неорганизованность младшей сестры не могла не раздражать аккуратистку Таню. И однажды, чтобы проучить ее, Таня провела посреди комнаты меловую границу: по одну сторону остались Танина безупречная кровать, письменный стол с симметрично разложенными тетрадками и учебниками, стул и шкаф для одежды, а на Олиной половине сгрудились в беспорядке куклы и кубики, книжки, платяца, наспех стянутые через голову, весь «природный материал», оставшийся от поделок по труду, карандаши, однажды закатившиеся по углам. Проводя границу, Таня нарочно строго кривила тонкие губы и подпिनывала на половину сестры все, что плохо лежало, – брезгливо так, мыском. А потом сказала, подражая классной руководительнице: «Мне этот бардак здесь не нужен!» Но Оля, кажется, не заметила преподанного урока. Подгребла к себе карандаши, из-под кровати выудила почти не измятый кусок ватмана, уселась на полу, по-турецки скрестив худые ноги, и стала рисовать, от усердия высунув язык. Таня, признаться, растерялась. Нет бы осознать и исправить, нет бы обидеться, в конце концов! А она сидит и рисует, будто и границы никакой нету!

– Ты чего это?! – спросила она, все еще пытаясь сохранить тон классной руководительницы.

– Парусник! – весело отозвалась Оля, приподнимая лист и растягивая за уголки, чтобы сестре было лучше видно.

И действительно, это был парусник. Он шел по волнам, трехмачтовый, невесомый, – и флаги развевались, и паруса пузырились над палубой... Ну что ты будешь с ней делать?! Разве можно перевоспитать такую?

Таня молча вышла из комнаты, вернулась с мокрой тряпкой и стерла границу...

Старшей было двенадцать, младшей девять. Кажется, в детстве это был единственный инцидент, отдаленно напоминающий ссору.

Таня бы ужасно удивилась, узнав, как хорошо запомнила Ольга тот день и ту границу на полу и как часто вспоминала ее позже. На жалких два метра неровной меловой линии оказались нанизаны сорок с лишним лет воспоминаний. Но все это уже потом, а пока речь о школьном детстве, которое было одинаково счастливым для обеих сестер. Сестры жили-были и счастья своего не ощущали – как не ощущают сердца, пока оно не заболит или не заколотится от волнения.

Тане и без Оли было кого перевоспитывать. Например, хулиган и троечник Петухов, и второгодник Гришин, гроза младшеклассников, и смазливая Юленька Галкина, способная думать об одних лишь нарядах. Всех их необходимо было «подтягивать», чтобы класс не позорили.

Потому Юленька Галкина была назначена в лучшие подружки и звана в дом, где просиживала до вечера без особого толку и больше списывала, чем «подтягивалась». Она, впрочем, была добрая и незлобивая девочка, просто ленивая и не слишком любопытная.

Потому троечник Петухов прятался в ближайшей подворотне, едва заведя на улице Таню, а если дело было в школе, тогда, разумеется, спасался в мужском туалете.

Сложнее было со второгодником Гришиным. Строго говоря, это был не второгодник, а третьегодник. Повторил он два класса – сначала шестой, потом седьмой (без видимого результата). За него Таня взялась особо. Прямо с первого сентября, когда это «счастье» свалилось на голову седьмого «А». Тане было четырнадцать, и это была настоящая барышня, красавица. Гришину было шестнадцать, и это был сформировавшийся хулиган, из числа отпетых. Классический вариант.

Ах, как боролась Танечка за Гришина, как старалась его спасти! Но ему хоть кол на голове теши. Долгих два года, пока Танечка боролась, он знай мямлил и только пялился чуть ниже того места, где краснел ее новенький комсомольский значок. Впрочем, не обижал. И никакой шпане в обиду не давал. Потому что вполне предсказуемо влюбился в Танечку – тяжелой неразрешимой любовью человека, недостойного «такой девушки». Худо-бедно Таня дотянула Гришина до восьмого класса и хотела было забрать с собой в девятый, чтобы был под присмотром, да только учителя не дали. Гришин уехал в Свердловск, поступил в ремесленное и уже через полгода получил срок по двести шестой, за какое-то не особо крупное, но и непростибельное хулиганство. А поскольку был он уже совершеннолетний, отвечать пришлось по всей строгости. Танечка винила себя и очень мучилась.

Впрочем, в девятом объявилась вполне достойная замена – Михеев Бронислав. Его папу перевели на «Красный путь» откуда-то с юга, и медный загар Бронислава, «дельты» и «трапеции» Бронислава, наплавленные в теплом море, выгоревшие добела кудри Бронислава произвели на старшекласниц неизгладимое впечатление. Увы, оказалось, что этот херувим и Аполлон – хронический лоботряс и троечник, признающий интересными только два школьных предмета: физкультуру и труд. И опять Таня принимала меры, и опять не очень успешно, а Бронислав, что логично, тоже влюбился – и это дополнительно мешало ему учиться по-человечески.

Мама, конечно, роптала на такие знакомства. А папа только посмеивался. Ты бы, говорил, доча, в учительницы шла. Зачем тебе в технику лезть? На что упрямая Таня кивала, мол, почетная профессия учитель, да, но упорно зубрила неподатливую физику и решала задачки. Учительница – слишком просто. Ей ли искать легких путей?

Меж тем за красавицей Таней пытались ухаживать лучшие молодые люди Военграда. Спортсмены и комсомольцы. Даже сын директора «Красного пути», избалованный женским вниманием футболист Костик. Но ни у одного из соискателей, включая популярного Костика, не было шансов. Потому что спасать и «подтягивать» их не требовалось.

Когда Оля подросла и вступила в пору бурного созревания, она все выпытывала у сестры, что привлекает ее в асоциальных типах, во всех этих Петуховых, Михеевых и Гришиных, от которых тихонечко подвывали школьные учителя и трепетали младшие классы. Неужели ей приятно с ними общаться?! А Таня только пожимала безупречными округлыми плечами: она не понимала, где граница между «приятно» и «необходимо». За эту лояльность и доброту к несимпатичным людям Оля очень уважала старшую сестру. Сама она так не умела – и общалась всегда только с теми, кто был ей интересен. А это были такие мальчишки и девочки, которые, как и сама Оля, относились к жизни с энергичным любопытством. Они пели в школьном хоре, ходили в походы, сажали деревья, строили шалаши, собирали макулатуру и металлолом, помогали окрестным пенсионерам, как в книжке «Тимур и его команда», занимались в кружках и секциях. Что их объединяло? Во-первых, никого из них не нужно было спасать. Они бы сами кого хочешь спасли.

Таня окончила десятилетку с золотой медалью, которая далась ей как нелегко, на девяносто процентов за счет усидчивости и зубрежки, и уехала поступать в институт инженерного транспорта, увезя с собой Бронислава Михеева. Она поступила, а он, разумеется, нет. Но тут, по счастью, не случилось никакой трагедии. Бронислав перекинул документы в строительное училище – и ни разу потом не пожалел. Ему в строительном было хорошо. Он был там на месте. Быть может, поэтому Таня очень быстро утратила к Брониславу интерес и переключилась на однокурсников. Там было за кем присматривать. Все-таки техническая специальность, на трех девушек – семнадцать оболтусов, приехавших со всех концов страны, впервые хлебнувших настоящей общежитской самостоятельности, а вместе с нею открывших для себя табак, алкоголь и, кому повезет, секс, которого официально в СССР не существовало.

Когда Таня поступила и уехала, отец очень гордился и очень горевал. Таня была «папина». Не в том смысле, что он ее больше любил, чем Олю, или больше баловал. Просто она была ему ближе по духу и как-то понятнее. Даже эти ее операции по спасению «утопающих»... Пусть ворчала жена, а он не видел тут ничего дурного. Он был из той редкой категории взрослых, которые до старости помнят себя юными и беспомощными... именно беспомощными, потому что юность – это и есть самое тяжелое человеческое время, когда ничего еще не знаешь и от всего зависишь, а кажется, будто познал все и во всем прав. Когда-то он – мастер, ветеран и всеми уважаемый человек – был таким же хулиганом и троечником, как Танины приятели. А то и похуже. И кто знает, как сложилась бы его жизнь, не начнись война. Как-то сразу стало не до глупостей, как-то сразу все повзрослели в то лето, даже самые отвязные. Но подобного способа быстрого взросления он не пожелал бы и врагу. Потому Танины порывы поддерживал и одобрял. Вот не будь войны, а будь у него, наоборот, в юности такая Таня – тоже ведь неплохо все могло бы сложиться.

Оля была «мамина». Внешне это почти никак не проявлялось, но понимали они друг друга с полуслова, с полувзгляда. И если маме вдруг требовалась помощь, просить никогда не приходилось – Оля была тут как тут, готовая к любой домашней работе. Мелкие бытовые занятия были ей интересны, как все вокруг. Мела и мыла с песней, так же весело и легко, как перед этим мусорила. А пироги? Что могло быть интереснее строительства настоящего домашнего пирога? Таня сестру не одобряла. Она тоже делала по дому все необходимое, но без огонька, а потому что *положено*. Делала и приговаривала, что это, мол, пережиток, а вот наступит светлое будущее, и уж тогда изобретут, чтобы домашнюю работу машина выполняла, а люди времени не теряли. Мама улыбалась: поживет девочка, помыкается, дом свой обустроит – выветрится из головы дурь. Папа был согласен со старшей дочерью – изобретут, обязательно. Раньше вон на кобыле пахали, а теперь? То-то! А Оля никакого мнения на этот счет не имела – просто делала, и все. Руки есть, ноги есть, времени – вся жизнь впереди. И чего ж не сделать-то? Подумаешь! Что такое вообще работа? Спроси Олю, она бы и не ответила. Слово предполагало какое-то суровое внутреннее усилие и внешнее угнетение, какую-то жертву, как в книжках про эксплуататоров. А полы протереть да тарелки вымыть – ну какая это работа?! Люди трижды в день за стол садятся, что ж теперь, ложку ко рту поднести – тоже будет работа? Или в субботу в баню сходить? Это ведь мочалку мылить, спину тереть!

Таня уехала учиться, а Оля выросла и расцвела. И все «положительные» отвергнутые кавалеры старшей сестры перешли к ней как бы по наследству. Сперва подходили на улице, интересовались, как там Таня, потом приглашали в кино и в кафе-мороженое. Но и от Оли оказалось мало проку. Она была такой же плод советского воспитания. Считала «амуры» чем-то недостойным. И на любые «вздохи на скамейке», на любые «прогулки при луне» отвечала крепкой искренней дружбой.

Скучала ли Оля по старшей сестре? Пожалуй, нет. Скучать, тосковать не было ей свойственно. Но вот ведь странно – в комнатке, которая теперь принадлежала ей одной, навела было хаос – а он не прижился. Прибежит из школы, вытряхнет учебники на стол неряшливой кучей,

сама станет переодеваться – и не дает эта куча покоя, хоть плачь. Делать нечего – подходила, складывала аккуратно. Как Таня. Только поправит, а тут платье школьное, на стул беззаботно брошенное, зовет: повесь, мол, что же это я валяюсь? Возвращалась и вешала, куда деваться. И фартук сверху. Аккуратно лямки расправив. А еще Оля покрывало стала разглаживать на кровати так, чтобы без складочек, и для карандашей завела специальную банку. Больше тоска по старшей сестре никак не проявлялась.

Старшей же сестре было вовсе не до Оли. Новые предметы, новые люди, новые общественные обязанности – за этой суетой и на сон-то времени не хватало. Когда тут вспоминать о доме? Сначала Таня исправно писала, два раза в неделю, по средам и воскресеньям, и очень подробно рассказывала обо всем, что делает. Потом решила про себя, что это мещанство – так быть привязанной к маме с папой, и стала писать раз в две недели. А студенческая жизнь набирала обороты. Раз Таня обсчиталась, другой отвлеклась – и письма стали приходиться в Военград лишь по праздникам. Телеграмму еще присылала, когда на каникулы ехала.

Папа очень переживал. Не ожидал от любимой дочки! Мама волновалась, не случилось бы с Танечкой чего, и старалась почаще писать сама – ее это успокаивало. Родители были обижены на Таню, а зря. Во все она их не забыла, она их любила – очень-очень! Ей было просто некогда. Ведь в сутках жалких двадцать четыре часа. И еще... появился один человек с ее курса. Он нуждался в спасении больше всех вместе взятых.

Мама стала неожиданно быстро стареть. Появились вдруг складочки в уголках губ и сеточка в уголках глаз, истончилась кожа и заострился нос, и выглядела теперь мама как будто невыспавшейся – всегда. Оля обнимала маму за шею и осторожно вела пальчиком сверху вниз, от сизой припухлости под нижним веком до подбородка, – и замирала.

– Совсем бабка становлюсь, да? – спрашивала мама весело.

Оля яростно мотала головой и еще крепче обнимала – так что дышать делалось трудно.

– Пусти! Ну пусти! Задушишь! – сопротивлялась мама.

– Ты у меня самая-самая лучшая! – шептала Оля.

– И ты у меня! – Мама целовала Олю в лоб, в глаза и добавляла тихо: – Это все нормально, нормально... Со всеми женщинами в моем возрасте... Вырастешь – поймешь...

Но Оля не хотела понимать, зачем у мамы становится старое лицо и утомленный вид.

– Вот вырасту – и изобрету лекарство от старости! – обещала она. А мама в ответ только улыбалась печально и смотрела на дочку с сожалением. – Вот и изобрету! Вот и увидишь! – храбрилась Оля. – Не веришь?!

И она, действительно, начала готовиться в медицинский.

«Красный путь» расширился, и работы у мамы здорово прибавилось, так что она поначалу все списывала на усталость. Ну и «по женским», конечно, вполне мог начаться переход на зимнее время. Рановато, да что ж поделаешь. Она худела, бледнела и буквально засыпала на ходу, но чтобы болело где-то, так это нет – потому, когда поставили диагноз, было поздно что-то предпринимать. Между впервые произнесенным словом «рак» и похоронами оказалось жалких четыре месяца... Оля никогда больше не чувствовала себя такой беспомощной и такой непростительно бесполезной.

Папа в эти четыре месяца стал как деревянный. В том, как он вставал утром, припадая на искаленную ногу, как собирался на работу и завтракал, не осталось, кажется, ни одного живого движения. Это была чистая механика. На жену старался не смотреть. Не подходил к ней. Не заговаривал. Не из черствости. И не от слабости – это был сильный человек, солдат. Смерти повидал. Он бы, может, и не то еще снес – но только не с матерью своих дочерей. Это было слишком для него. Слишком больно.

Познакомились они в сорок четвертом. В госпитале, в Польше. Никакого героизма или романтики в их отношениях никогда не было. Никто никого не выносил с поля боя, не сидел

круглосуточно у постели умирающего, крепко держа за руку и не пуская сделать шаг «туда», и с первого взгляда никто из них не влюбился. А все-таки восемнадцатилетняя Верочка спасла его. Потому что он тогда не хотел жить. Совсем.

Вроде бы дело повернуло на победу, но вдруг накрыла такая апатия, что не пошевелиться. Нога быстро заживала, неделя-другая – и добро пожаловать в строй. Но никаких внутренних сил для войны Саша в себе уже не чувствовал. Он бы никому не признался. Он бы пошел, куда пошлют. Это не обсуждалось. Только... Его бы послали, и он бы пошел. И дошел бы. И там, куда прибыл, потихоньку пустил бы себе пулю в лоб.

Тогда и появилась Верочка. И Саша, надо сказать, ей категорически не понравился.

Другие солдатики были люди как люди. А этот лежал, глаза в потолок, с койки не поднимался. И добро бы серьезное что, а тут пуля под коленку, навывлет – тьфу, а не ранение! Другим-то, может, руки-ноги ампутировали, и то ничего, держались. Тоже мужик! В палате Верочка старалась не подходить к Саше и не смотреть в его сторону. И он на нее не смотрел. И не звал. А когда уколы надо было, подлетала Верочка, презрительно губы поджав, да как зыркнет, да как всадит... А ему об стену горох! А глаза такие, знаете... как у артиста.

В общем, не выдержала однажды. Сдали девичьи нервы. Зачерпнула холодной воды кружкой железной, подошла гордая – и выплеснула ту воду пациенту прямо на голову. По волосам потекло, по шее, по подбородку. На мгновение во всем мире выключили движение и звук, остановилось время. А потом этот – мокрый как воробышка, растерянный, бледный – взял и улыбнулся Верочке...

Это после была любимая семейная шутка – про живую воду.

А теперь Верочка умирала. Глупо. Непоправимо! Медики, они же как сапожники без сапог – всех-то вылечат, за каждым чихом проследят, а про себя думают, что неуязвимые и бессмертные, кажется им, будто никакая болезнь не прилипнет...

Стояла золотая ясная осень. Весь Вoenград оказался засыпан красным и желтым, рябиной и кленом, небо, как нарочно, было высокое и прозрачное, хоть бы облачко, солнце жарило почти как летом – и от этого несоответствия становилось еще большее. Оля начала десятый класс.

Папа потерянный слонялся по квартире и боялся заходить в спальню жены. Она тогда уже не вставала, а только лежала да крепилась. И приговаривала: вот, мол, везение – девочки взрослые, выдюжат. И улыбалась, улыбалась через силу. От этой улыбки Оле хотелось выть. Но она держалась. И так же через силу улыбалась в ответ. Они за всю предыдущую жизнь друг другу так много не улыбались, как в те месяцы. Весь уход, вся домашняя работа легли на Олю. Потому что папа не мог. Это была никакая не блажь. Он правда не мог. Он был из тех мужчин, кого бессилие парализует.

Таню ждали на ноябрьские. Но она не приехала. Про болезнь матери она, конечно, знала. Так, как знают на большом расстоянии – что-то где-то происходит нехорошее, не с тобой. Но ты-то сам – жив и в порядке. И даже никаких плохих предчувствий нет. Никаких зловещих примет, ничего. И тревоги нет особенной, некогда студенту тревожиться, у него одних учебников от пола до потолка. А страшное слово Тане не сказали. Пожалели. Всё надеялись, что, может, ошибка. Потому увиделись сестры на похоронах. И у Оли плакать сил не было, а на Таню зато было страшно смотреть – так она, бедненькая, рыдала. Смерть такое дело – сколько ни говори, что это «нормально» и «все там будем», но это до первого случая.

Для Тани мамина смерть выглядела как монтаж. Конец лета – и мама почти здорова, просто немного усталая, собирает в дорогу домашние заготовки и пирожки с капустой, а Таня отпирается, потому что родительская забота кажется ей чем-то лишним. Осень – и пара тревожных писем из дома, достаточно торопливых и бережных, чтобы не воспринять их как начало трагедии. А потом сразу хлоп – середина декабря, и какое отношение эта восковая

кукла, лежащая в деревянном ящике на раздвинутом обеденном столе, имеет к любимой мамочке, всегда подвижной и веселой, *живой?! Это неправда! Это не может быть правдой!* Верните, верните время, и я где-то там, в прошлом, обязательно все почию, я справлюсь!

Примерно так чувствовала Таня и глотала слезы, которые лились не переставая почти три дня, – и не было тут никакого жеста или наивной глупости, а только защитная реакция не очень взрослого ребенка, у которого вдруг отняли самое дорогое, самое важное в жизни существо. Три дня Таня плакала и мысленно искала виноватых – ведь не могла же такая беда случиться просто так, ни за что! И, не найдя их, на всю жизнь затаила обиду – на папу, который толком не объяснил, на каменную Ольгу, не проронившую ни единой слезинки... на мизерную роль статистки и плакальщицы при большом горе.

Мама умерла – и механизм их дружной счастливой семьи оказался непоправимо испорчен, потерял самую важную деталь, ничем не заменимую. С тех пор каждый вращался как бы вхолостую, сам по себе. Они еще соприкасались шестеренками, но от этого не происходило никаких созидательных действий – одно трение. Им всем было больно, но боль не была общей, и каждый переживал ее по-своему.

Таня была не из тех, кто способен силой фантазии втащить себя в чужую шкуру. К тому же смерть такое дело – как ни фантазируй, ничего не представишь похожего, не увидев собственными глазами. А Таня приехала слишком поздно и невольно оказалась на обочине общей беды. Она пыталась как-то действовать, поддерживать сестру и отца, но что бы ни сделала, все казалось неуместным. Менее всего они сейчас нуждались в деятельной заботе. Им хотелось отдыха и тишины. Хотелось забыться, отключить мысли от этой смерти. А Таня, выпытывая, как все случилось и что было сделано, словно ковыряла едва затянувшуюся ранку ногтем, расчесывала, так что на поверхности вновь проступали блестящие капельки крови. И если папа оглушен был настолько, что Таню почти не слышал, то Оля так не умела. Каждое лишнее слово ранило. И она стала ускользать от старшей сестры, убежать. Находила миллион причин исчезнуть из дома.

Стоял январь. Удивительно холодный для их широт и удивительно снежный, сугробы у подъезда казались выше головы. Оля открывала дверь, делала первый шаг и невольно смотрела под ноги – ей все еще мерещились похоронные еловые лапы, ведущие от дома прочь, словно следы гигантского чудовища. Дворник давно убрал их, но они стояли перед глазами – правая, левая, шаг и другой, – зверь уходил и уносил с собой маму, далеко за реку, за корпуса «Красного пути» на погост Военграда – и закапывал в ледяную нору. Оля шла по городку куда глаза глядят и неизменно находила себя уже на мосту, откуда могилы на холме были хорошо видны. Военград был еще невелик, и кладбище казалось совсем крошечным, необжитым. А родных тут было уже двое – бабушка и мама – на этом крошечном пятчке! Там, на мосту, Оля надолго останавливалась и смотрела через перила на лед. Весной он вскроется и потечет на юг, а пока под черными промоинами среди белых наносов не было видно течения реки – одна чернота и пустота. Именно здесь Оля решила, что никогда не станет врачом. Потому что какой в этом смысл, если уже не спасти самого родного на свете человека? Даже если все остальные станут вдруг бессмертными... Учебники по биологии и химии были заброшены, но на это никто не обратил внимания.

Раздосадованная Таня, так и не осознавшая до конца всей тяжести горя, скоро уехала: она и без того пропустила сессию, а на носу уже был новый семестр. Папа выглядел с виду обыкновенно, только не шутил больше. И не разговаривал почти. Вернувшись с работы, бесцельно садился на табурет в кухне, включал радио на полную громкость и так сидел. Не ел до тех пор, пока Оля не приносила ему дымящуюся тарелку и не вкладывала в руку ложку или вилку. Механически жевал. Отодвигал от себя грязное и опять сидел. До тех пор, пока не становилось пора спать и Оля не прогоняла его в комнату. А где-то через месяц, вернувшись из школы, Оля не обнаружила в бывшей родительской комнате двупольной железной кровати с

пишечками и обеденного стола, на который клали маму... Вместо кровати был ровный яркий прямоугольник нестертого пола. В углу комнаты, которая казалась огромной, стояла сложенная раскладушка, довольно ветхая, явно занятая у кого-то из сослуживцев. Оля ни о чем не спросила, папа ничего не попытался объяснить. Они только обменялись долгими взглядами и отвели глаза, будто извинились друг перед другом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.